



Дина Ильинична Рубина

Больно только когда смеюсь

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170917
Больно только когда смеюсь: Эксмо; М.:; 2008
ISBN 978-5-699-31213-9*

Аннотация

«Не относитесь так серьезно к литературным текстам, это не боговдохновенная Библия. Мало ли что писателю взбредет в голову вспомнить! — Хороший писатель всегда врун в самом ослепительном смысле этого слова. К тому же я отношусь к тому роду людей, которые любят свое настоящее, а не прошлое. И детство и юность у меня были трудны. И когда все это трепетное барахло осталось в прошлом, я вздохнула полной грудью и поняла, что ничем не обязана самой себе — своим воспоминаниям, детским привязанностям, детским мечтам».

Содержание

Внесезонная книжка	5
Глава первая	7
На панели	25
Глава вторая	30
Соседи	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Дина Рубина Больно только когда смеюсь

Дорогой читатель Андрей!
Желаю от всего души —
радости, дружбы, любви!



Внесезонная книжка

«Искусство повествователя заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы».

О.Генри. «Короли и капуста»

У меня рухнул компьютер. Причем не в переносном смысле (многие, как известно, используют это слово, когда выходит из строя что-то важное внутри гениальной машины), а в самом буквальном. Рухнул со стола, куда его «на минутку» водрузили арабские рабочие. Они пытались красить потолок в моем кабинете – между третьей молитвой и двадцать третьей чашечкой кофе.

Я примчалась на грохот, увидела останки боевого товарища и пронзительно закричала, как певцы расппеваются: на «а-а-а-а». Просто я не знаю достаточно выразительных арабских ругательств. На мой душераздирающий крик явился муж и, убедившись, что очередной жертвой террора стала не я сама, а всего лишь «железный ящик», сказал: все к лучшему, хорошая примета, давно пора купить новый.

– Новый?! – рассвирепела я. – А новую жену тебе не пора присмотреть?!

И наутро под мои причитания мы поволокли компьютер в ремонтную мастерскую.

Там десятилетний на вид подросток проникновенно объяснил, что подобного хлама давненько не видал, что на таких утюгах никто уже не работает, и разумнее всего просто подарить его арабским старьевщикам.

– Подарить старьевщикам?! – ахнула я. – Там внутри все мои книги!!!

– О'кей, – невозмутимо отозвался паренек. – Ваши книги я вам вытащу.

И гениальный Саша, не такой уж и малолетний, каким показался в первую минуту, виртуозно извлек из железной могилы все мои тексты.

– Вот тут папка «Мессия» – что это? – меланхолично спрашивал он, глядя в экран. – Выбрасываем-не?

– Это роман! – вскидывалась я. – Роман «Вот идет Мессия!..» Переведен на кучу языков! включен в энциклопедии и словари! награжден премиями! изучается в...!

– О'кей... – говорил Саша покладисто и переносил текст романа-повести-рассказа в «спасательную шлюпку» съемного диска, чтобы затем внедрить в память новенького, умопомрачительно элегантного компьютера, уже стоящего перед нами на столе.

Постепенно весь мой творческий багаж – после привычного «выбрасываем-не?» и моего ответного панического вскрика – благополучно перекочевал в новую обитель. В разбитом теле старого компьютера еще оставалась всякая чепуха. Так в пустом доме, из которого вывезли мебель, по углам валяются кучки всякого ненужного сора: огрызки карандашей, крышка от баночки, обрывок ленты, прошлогодняя открытка...

– И последняя папка, – сказал Саша. – «Интервью». Выбрасываем-не?

– Выбрасывайте, – я с облегчением махнула рукой. В этой папке хранились мои ответы на вопросы многих журналистов, корреспондентов, обозревателей литературных отделов газет, журналов, альманахов... – за много лет. Ну, в самом деле, к чему хранить это старье? Кому нужны мои стародавние рассуждения о месте писателя в современном мире?

Саша кивнул и привычно подвел «мышку» к значку «удалить». Все-таки странная судьба у этих электронных текстов, подумала я. Жалкая судьба. Они не горят, а просто – «щелк!» – и бесследно исчезают. Как слова, которые без следа растворяются в эфире.

– Погодите, – сказала я.

Мне вспомнились не то чтобы все эти люди, которые задавали свои вопросы – доброжелательные и с подковыркой, интересные и не очень, оригинальные и привычные, как небо над головой... Все они спустя много лет слились в моей памяти в одного большого читателя, с которым я говорила, шутила, спорила, которому возражала...

Может, оставить на всякий случай, подумала и вспомнила, как однажды доказывала настырному журналисту, что писатель интересен читающей публике своими книгами, а не рассуждениями.

– Где вы видели хорошо говорящего писателя? – спрашивала я. – Мы по определению люди письменной культуры, одинокие волки, молчаливые буки. Особенно прозаики. Настоящий прозаик, как правило, косноязычен.

– Ну почему же? – весело возражал журналист. – Вы, например, совсем неплохо треплетесь.

– Знаете, Саша, – сказала я компьютерному гению и даже придержала его руку на «мышке». – Оставьте-ка мне и это барахло.

Так началась история книги. Той, которую вы держите в руках.

Началась не сразу, а после целого года тяжелой работы над новым романом, – ежедневной каторги, не оставляющей сил ни на что другое. И когда она завершилась, и готовая рукопись романа была отослана в издательство, я осталась бродить в тишине квартиры, как всегда после окончания огромной работы истощенная, со звенящей головой и глубоким дуплом в области диафрагмы.

Вяло сидела перед экраном компьютера, прогуливаясь по новостям в Интернете, перебирая огрызки текстов, не вошедшие в работу. Наткнулась и на старую папку с сотнями интервью.

Были там те, что вышли много лет назад, и те, что я давала накануне, в преддверии выхода нового романа. Были суховатые по тону, – для «серьезных» изданий, и легкие, даже легкомысленные – предновогодние, например: когда вдруг тебе звонят из знакомой газеты, и умоляют «быстренько и юморно ответить на парочку вопросов!»...

Я листала и листала эти электронные страницы долгих разговоров с такими разными собеседниками, разговоров, что перемежаются обычной «трепотней», а то и картинками, вроде той, увиденной мною на одесском пляже, где маленький мальчик с обиженным лицом стоял у самой кромки воды, и громко виртуозно сквернословил вслед лодке, в которой отплывала с друзьями его старшая сестра.

(Я и сама не последний человек по части крепких слов, но никогда еще не встречала столь совершенного владения предметом в столь юном возрасте.)

А из-под грибка неподалеку его лениво окликал молодой атлетический папаша:

– Рудольф! Ты почему бранишься? Тебе разрешили?!

Я вдруг поняла, что перед моими глазами вместе со страницами вопросов и ответов проносится жизнь. Жизнь, какая она есть: и серьезная, и трагическая, и занимательная, и смешная. Достойная того, чтобы просто быть.

Да это же книга, подумала я. Это – тоже книга. Надо только перевернуть застывшую в вопросах-ответах жизнь, встряхнуть как следует, сдуть пыль, кое-где отпарить, кое-где подштопать, отгладить уголки... – будет как новенькая! Вернее, будет она такой, какой я захочу ее вспомнить – со всеми байками, персонажами, воспоминаниями, картинками по теме...

И принялась я перебирать ее и перетряхивать – эту свою нечаянную, необязательную, межроманную, внесезонную книжку...

Глава первая «Балшой савецкий лит-ратура»

«Перед проблемой писательского творчества психоанализ слагает оружие».

Зигмунд Фрейд

«Я никогда не раздумываю – о чем сейчас буду писать. Просто веру перо и пишу. Я писатель. Я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага: я словно клоун на трамплине. И потом, я хорошо знаю синтаксис. Я бросаю фра – зы в воздух, словно кошек, и уверен, что они встанут на свои лапки. Это очень просто, нужно только знать синтаксис».

Теофиль Готье

– ДИНА ИЛЬИНИЧНА, В РУССКОМ НАРОДНОМ СОЗНАНИИ СТАТУС ПИСАТЕЛЯ ВСЕГДА БЫЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОК. НЕ БУДУ ЦИТИРОВАТЬ ИЗВЕСТНОЕ: «ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ...» ПРОЗАИКИ – ВСПОМНИМ ТОЛСТОЮ, ДОСТОВЕСКОГО – ДАВАЛИ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЯМ, ВЛИЯЛИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ МЕСТО ПИСАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

– Можно, для начала я спихну вас с высокой темы? Знаете, вот как летом, на речке пацаны: ты стоишь на вышке, весь в пупырышках, собираешь силенки и мужество, чтобы прыгнуть «ласточкой», а сзади к тебе уже подкрался дружок, и ка-ак даст пенделя! И ты летишь в воду под общий хохот – уж как получится, иногда сверкая задницей.

Бог с ним, этим высоким насестом, на котором восседает – или восседал – российский писатель.

Кстати, не помню кто – кажется, Генрих Бёлль – говорил, что место писателя в западном обществе помещается, конечно, выше статуса дрессированного тюленя, но значительно ниже статуса уличного акробата.

По поводу общественного, то бишь народного сознания, на которое как бы «влияти» писатели: это пресловутое сознание на любое влияние всегда имело свой, подчас довольно скабресный ответ – какие-нибудь неприличные частушки, поговорки, песенки. Помните:

*«Писателя храфа Толстова-а
я есть незаконнорожденный вну-у-ук.
Подайте мне что-нибудь та-ко-ва-а
из ваших ма-азо-листных ру-ук»...*

Или: «А нужник те кто будет чистить – Пушкин?»

Знаете, что такое – писатель?

Не так давно в Москву приезжал некий французский литератор по имени Жан Бло. На деле-то его звали просто: Александр Блок. Очень уже старый человек, за девяносто лет. В начале прошлого века его родители эмигрировали из России во Францию. И когда мальчик подрос и, как положено, принялся рифмы лепить, он обнаружил, что некто под именем Александр Блок стихи уже писал, и неплохие стихи. Тогда юноша взял псевдоним, вполне

французский. Но русский язык не забыл, во всяком случае, очень достойно выступал на нем перед публикой.

Между прочим, рассказывал:

– Когда я был маленьким, то ходил с отцом в кафе и очень там скучал. Отец разговаривал с какими-то взрослыми дядями, а я скучал, скучал...

И только будучи уже взрослым, понял, что то были – Бунин, Набоков, Алданов... А тогда я страшно скучал...

И вот из зала ему задали примерно тот же вопрос, что-то такое о месте писателя в современном мире. Жан Бло улыбнулся и сказал:

– Друзья мои, давайте вместо заумных рассуждений я просто расскажу вам притчу.

Дело происходит в начале двадцатого века, на Бруклинском мосту.

Сидит слепой нищий и держит в руках картонку, на которой написано: «Подайте слепому!»

К нему подходит молодой писатель и спрашивает: – Ну, и много тебе подают?

– Два, три доллара в день, – уныло отвечает слепец.

– Дай-ка мне твою картонку! – говорит писатель, достает карандаш, что-то пишет на оборотной стороне слезливого воззвания и отдает нищему: – Теперь будешь держать ее вот так!

Проходит месяц, другой... Снова появляется молодой писатель на Бруклинском мосту, подходит к слепому нищему:

– Ну, сколько сейчас тебе подают?

Тот узнал его голос, страшно обрадовался, за руку схватил:

– Слушай, слушай! Теперь я имею двадцать, тридцать долларов в день! Скажи, что ты там такое написал?!

– Все очень просто, – ответил молодой человек, который мог лишь мечтать о таких гонорарах. – Я написал:

«Придет весна, а я ее не увижу...»

Вот и все. Магия слова; неуловимое, необъяснимое очарование фразы, поставленной в нужное место. В конце концов, обаяние и масштаб личности. Ну, и владение ситуацией, умение перевоплощать жизнь – в литературу, и талант мгновенного включения в игру.

Ведь у писателя иное, чем у других людей, устройство психики. Писатель с рождения видит мир иначе, чем остальные. Он посторонний в нем: не живет, а наблюдает. Вы смотрите на пейзаж с моего балкона и видите россыпь огней, среди которых выделяется яркий зеленый фонарь на башенке вдали. А я смотрю на тот же пейзаж и на подсознательном уровне отмечаю: «зеленый хищный глаз минарета»... Набоков писал: «...если уйдет чародей и останется только рассказчик и учитель, мы очутимся в неинтересной компании».

– «ЕСТЬ ТРИ ПРИЧИНЫ, – УТВЕРЖДАЛ КВЕНТИН КРИСП, – ПО КОТОРЫМ СТАНОВЯТСЯ ПИСАТЕЛЕМ. ПЕРВАЯ: ВАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ; ВТОРАЯ: ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ МИРУ ЧТО-ТО ВАЖНОЕ; ТРЕТЬЯ: ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ ДОЛГИМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ».

– Очевидно, в моем случае имела место четвертая причина – бессознательное стремление заполнить лист бумаги буквами, словами, строчками. Я начала писать так рано, когда деньги были мне еще не нужны, ну, по крайности – рубль на кино; когда сказать миру мне было еще совершенно нечего, и когда длинные зимние вечера были для меня книжной выдумкой, ведь я родилась и росла под жарким солнцем Ташкента.

Я просто бесконечно писала, вместо того, чтобы готовиться к контрольным по математике, а мама выбрасывала эту писанину. Вообще, писатель у нас начинается с сопротивления

– себе самому, семье, обществу, обстоятельствам... Так что высказывания далеких великих не очень подходят.

Другая сцена, другое освещение; и, как говорила моя бабушка – другое питание.

– БУКВАЛЬНО ЛЕТ ТРИДЦАТЬ НАЗАД ОПЫТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ ВСЕГДА ЗНАЛ – ЗА КАКОЙ КНИГОЙ ОХОТИТЬСЯ, ИСКАТЬ В БУКИНИСТИЧЕСКИХ, ВЫСТАИВАТЬ ОЧЕРЕДЬ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ... СЕЙЧАС ЧЕЛОВЕКУ НЕМУДРЕНО РАСТЕРЯТЬСЯ В ОКЕАНЕ КНИГ. А ПИСАТЕЛЮ НЕЛЕГКО В ЭТОМ ОКЕАНЕ ВЫПЛЫТЬ, ПОДАТЬ ЧИТАТЕЛЮ ЗНАК: ВОТ ОН Я, ВОТ МОЯ КНИГА, КУПИ ЕЕ, ПРОЧИТАЙ! КАК, ПО-ВАШЕМУ, КАКАЯ ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ДАРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ К ТВОРЧЕСТВУ ТОГО ИЛИ ДРУГОГО ПРОЗАИКА?

– Артистизм. Сегодня в прозе побеждает артист.

Знаете, на протяжении многих лет мне приходится зарабатывать на хлеб выступлениями перед читателями. И каждый раз, когда я выхожу на публику, вижу новые лица, незнакомые глаза, – еще аморфную массу, которую мне только предстоит завоевать... – я неизменно вспоминаю одного человека, с которым судьба меня свела на короткое время семинара молодых драматургов, году в 1979-м, – в Доме творчества писателей в Пицунде. Это была Инна Люциановна Вишневская, известный советский театровед.

Ее хотелось назвать Инной Люциферовной... такой у нее был острый беспощадный язык. Вела она курс по истории русского театра в Литературном институте имени Горького.

Традиционно начинался этот курс с лекции о жизни и творчестве Станиславского.

На соседнем потоке точно такой же курс вела ее приятельница, человек, напротив, спокойный, размеренный, даже слегка занудный в своей невозмутимости. И вот эта дама однажды спрашивает Вишневскую:

– Почему, Инночка, эти паразиты у тебя сидят в полной тишине, внимая каждому твоему слову, а у меня они жрут бутерброды под партией, играют в морской бой и целуются на заднем ряду?

– А как ты начинаешь лекцию? – спрашивает И.Л.

– Ну, это же начало учебного года! Я захожу в аудиторию в новом костюме, после парикмахера... Торжественно поздравляю всех с началом нового учебного года... Объявляю курс: «История русского театра», заявляю тему лекции. И начинаю: «Великий русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский родился в таком-то году...»

– Видишь ли, – вздохнув, перебивает ее Инна Люциановна. – Я-то бегу с рынка, взмыленная, врываюсь в класс в последнюю минуту, вешаю на стул авоську с подтекающей курицей, оборачиваюсь к аудитории и говорю:

– Ну?! Все вы, конечно, знаете, что Станиславский жил с Немировичем-Данченко?

В тот же миг воцаряется гробовая тишина; все гаврики, как один, впиваются в меня взглядами... И тогда я спокойно продолжаю:

– Великий русский режиссер Константин Сергеевич Станиславский родился в таком-то году...

И далее в полнейшей тишине читаю не только эту лекцию, но и весь курс – до конца учебного года.

В этом месте рассказа Инна Люциановна сделала коротенькую паузу и сказала мне:

– Понимаешь? Когда бы и где бы ты ни вышла на публику, ты должна немедленно взять их за шкуру В первое же мгновение. Во второе – будет поздно. А когда они уже твои, ты можешь читать им телефонную книгу, или правила противопожарной безопасности.

– **ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, – ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЛИТЕРАТОР ДО ИЗВЕСТНОЙ СТЕПЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРЮКАЧОМ?**

– Он во что бы то ни стало должен владеть ситуацией, иными словами, должен постоянно держать внимание читателя. Возможно, кто-то назовет это трюкачеством. А кто-то с восхищением будет следить за стремительным сюжетом... Разумеется, литературное произведение – это не лекция, а сложная художественная структура. Между прочим, этот, поистине лоцманский талант лавирования пригождается в литературе точно так же, как и в жизни.

И на эту тему вот вам еще одна история с другим уже писателем.

Обозначим его К.

Картинка по теме:

В семидесятых годах К. – по совсем другой, не литературной, а дипломатической линии – работал в Вене. Слишком себя не обременял, вел довольно свободный образ жизни, закрутил интрижку с австрийской баронессой... Надо сказать, муж этой баронессы – само собой, барон, – был не только одним из богатейших виноделов, но и великим дегустатором вин. И однажды баронесса решила пригласить своего возлюбленного К. на обед, в родовой замок барона. А чтобы К. не выглядел на обеде парнягой из ростовской подворотни, с «Солнцедаром» за пазухой (он, между нами говоря, был как раз тем парнягой из ростовской подворотни), баронесса раскрыла ему главный секрет мужа: на обеденный стол барон собирался выставить бутылку розового лафита «Ротшильд», урожая 1929-го года, августа месяца.

И вот К. подъезжает на такси к замку, долго идет по подъездной аллее, на ступенях его встречает дворецкий и провожает длинной анфиладой залов, мимо бесчисленных портретов родовитых предков барона... наконец, вводит в столовую, где уже накрыт обеденный стол. Сервировка соответствующая – старинное фамильное серебро, северский фарфор XVI века...

Появляется барон и торжественно ставит на стол чуть запыленную бутылку вина. Тут уместно объяснить, в чем ценность конкретно этого розлива. Дело в том, что именно в августе 29-го года была какая-то особенно подходящая для виноградников погода, и над каким-то там восточным склоном главного виноградного холма на реке Мозель, солнце, скажем так, стояло на полторы минуты дольше, чем положено... отчего изготовленное из данного винограда вино обладает каким-то особым вкусом, отличить и расчувствовать который под силу лишь узкому кругу избранных дегустаторов.

Короче, бутылка этого урожая в мире осталось пять-шесть. Одна, скажем, в подвалах Ватикана, вторая, предположим, у какого-нибудь эмира, третья – в винном погребе поместья принца Уэльского... А четвертую, вообразим уже, наконец, и такое – приобрел этот самый барон на каком-то закрытом аукционе вин.

И вот он сам, отстранив лакея плавным движением подбородка, торжественно раскупоривает бутылку и наливает вино в бокалы.

К. отпивает глоток.

И одобрительно произносит:

– Хм!.. Розовый лафит?

Лицо барона расплывается в улыбке. Сюрприз. Он видит, что гость баронессы – человек, разбирающийся в винах. Это хозяину приятно...

К. отпивает второй глоток. Задумчиво вытягивает губы трубочкой, причмокивает...

– «Ротшильд»? – добавляет он.

Барон в восторге. Он изумлен. Тихо аплодирует. Однако лицо его озаряется явной тревогой: неужели К. – специалист, дегустатор, подстать ему, барону?

Наступает напряженная пауза. Встревоженные предки винодела внимательно следят из золоченых рам за развитием сюжета...

К. отпивает еще вина, держит во рту... замирает... Говорит осторожно:

– Похоже... двадцать... девятый год...

Барон становится аполлексического цвета. Еще мгновение, и он упадет в обморок!

И наш К. понимает, что старика сейчас хватит удар. Тогда он быстро отпивает еще глоток уникального вина и великодушно выпаливает:

– Июль!

Кровь отливает от щек барона. Он набирает в грудь воздух и торжествующе кричит, топая ногами:

– Август! Август!!! А-а-а-в-гу-у-уст!!!

– ВЫ ЭТУ ИСТОРИЮ ПРИДУМАЛИ?

– Нет. Только чуть олитературила. Это и есть: владение игровой ситуацией. Тот самый рычаг, ручка которого, по замечательному определению Бабея, должна всегда находиться в руке профессионала и обогреваться.

– ГДЕ ВЫ БЕРЕТЕ СЮЖЕТЫ СВОИХ КНИГ?

– Самый распространенный вопрос, и труднее всего на него ответить. Иногда хочется сказать: где наклонилась, там и подобрала. Но это и правда, и неправда. О чем бы ни рассказывал писатель, история его жизни и история его души – единственный сюжет, который он пишет, пока дышит. И уверяю вас, не шутя: есть писатели, которые много бы отдали за возможность описать свои похороны.



– А КОГДА ПИСАТЕЛЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ СЕБЕ, НАКОНЕЦ, ЧТО СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛОМ? В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ? ПЯТЬДЕСЯТ? ВОСЕМЬДЕСЯТ? МАСТЕРСТВО, ВООБЩЕ, – ОНО ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА? ТОГДА ВЫ ПРОСТО – ИЗВИНИТЕ – ПАТРИАРХ, ВЕДЬ ВЫ ОЧЕНЬ РАНО СТАЛИ ПУБЛИКОВАТЬСЯ?

– В шестнадцать лет. То есть, не слишком далеко от того возраста, когда отучаются от соски и приучаются к горшку.

– И КАК-ТО СРАЗУ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ?

– Да, это была такая общегородская слава, с плавным переходом в славу всенародную, медно-трубную. И ничего удивительного – журнал «Юность» был самым тиражным в Советском Союзе литературным журналом. Мне и сейчас приходится втолковывать разным славистам и западным журналистам, что произнесенная мною цифра тиража «Юности» – три миллиона, – это не плохой мой английский, не оговорка и не хвастовство. На меня подозрительно смотрят, осторожно поправляют – три тысячи?

– Нет, – терпеливо повторяю я. – Три миллиона экземпляров.

– Э-э-э... – деликатно жуют губами мои собеседники. – Вы хотите сказать – ТРИДЦАТЬ тысяч?!

– Миллиона, – раздраженно говорю я. – Три!

– Как?! Неужто ТРИСТА тысяч?!

Так что, кроме «гражданских лиц» меня читали уголовники, моряки и солдаты, – вы только представьте в реальности этот безумный тираж, который, помимо подписчиков, библиотек, университетов-школ и детских садов распределялся по тюрьмам, воинским частям и кораблям военно-морского флота. А ведь публикация в журнале «Юность» – в отличие от, скажем, «Нового мира» или «Знамени» – предварялась фотографией автора.

Я немедленно стала получать страстные письма! Какой-нибудь Коля Петров по кличке «Чекушка», осужденный по статье за пьяную драку с нанесением жестоких телесных повреждений, писал, что освободится через полгода, придет, и тогда мы сможем пожениться.

Раза три перед подъездом школы меня ждали бритоголовые личности с вялым букетиком ромашек в руках. Словом, это была настоящая народная слава.

Долго меня папа в школу провожал...



– А КАК ВЫ УГОДИЛИ В «ЮНОСТЬ»?

– Да по наглости провинциальной... Я строчила рассказы всегда, сколько себя помню, лет, по-моему, с девяти. Нет, даже раньше. Мама, историк, серьезный педагог, классный руководитель старших классов, время от времени в сердцах выбрасывала мою писанину: математикой же надо заниматься, а я на уроках сижу, ни черта не слышу, подпольно в тетрадках что-то строчу. Вообще, была кошмарной ученицей.

Однажды мне в руки попался журнал «Юность», в котором, помнится, был опубликован рассказ шестнадцатилетней Наташи Хмелик. И я резонно подумала: «Хм, ей можно, а мне нельзя?» Под рукой у меня оказался какой-то мой рассказик, я запечатала его в конверт и бросила в почтовый ящик. После чего напрочь забыла об этом честолюбивом порыве.

А рассказ попал в руки Виктору Славкину редактору отдела «Зеленый портфель» – туда отдел писем отфутболивал все «мелочи». И Виктор, вместо того чтобы выбросить исписанные моим ужасным почерком листки (редактор ведь не обязан ломать глаза, разбирая каракули), прочитал их и стал ходить по комнатам редакции: «Ребята, – говорил он, – послушайте, какой смешной рассказик прислала девочка из Ташкента». И зачитывал вслух. И все слушали и смеялись.

А я в очередной раз сбежала с уроков – я регулярно убегала из школы куда глаза глядят, – чаще всего в зоопарк по соседству. Там, возле клетки с обезьянами стояла в тени удобная скамейка, на которой можно было дивно провести целый день, созерцая прыжки наших братьев меньших. Но именно в тот роковой день мы улизнули с уроков вдвоем с одно-

классником, Сенькой Плоткиным. И не в зоопарк. В кинотеатре повторного фильма неподалеку от школы крутили какой-то старый ковбойский фильм.

Надо сказать, в качестве подельника Сенька был крайне неудобен – он играл на виолончели и повсюду таскал за собой эту бандуру. Вы спросите – ну и что? А вот что: когда Сенька сидел в маленьком «домашнем» кинозале нашего старого кинотеатра, то гриф виолончели, поставленной между колен – девать-то ее больше некуда, – отбрасывал тень на экран. Вы опять спросите – ну и что? – и я опять отвечу: дело в том, что наша классная руководительница по кличке «Баба Лиза», не досчитавшись учеников в классе, частенько являлась прямо в кинозал – отлавливать своих кроликов и конвоировать их в школу. Тень на экране от грифа Сенькиной виолончели выдавала нас с головой. Короче, сбежать с Сенькой в кино было все равно, что бежать из зоны с хромым и слепым – лучше съесть его по дороге.

Так вот... да, кажется это был «Лимонадный Джо»: стрельба, пиф-паф, крепкие белые зубы ковбоя, лошади скачут, лассо свистит... Лента старая, часто рвется, порой пропадает звук, тогда мы топаям и свистим – словом, замечательное времяпрепровождение для мальчика и девочки из спецмузыкальной школы для одаренных детей.

И вот, на какой-нибудь двадцатой минуте фильма, лихой ковбой разбивает ногой окно, вскакивает на подоконник. В каждой руке по «Смит и Вессону». Направляет на зрителей дула.... В ту же секунду обрывается звук, и ковбой кричит голосом Бабы Лизы: «Рубина и Плоткин, вон из зала!»...

Так что, можете представить, с каким настроением я плелась тем вечером домой.

Открывает мне папа, с мрачным значительным лицом, и говорит: «Ну, допрыгалась?»

И я, абсолютно уверенная, что тут без меня уже приходила с душевной беседой Баба Лиза, прямо с порога заверещала:

– Пап-пап-пап!!! Я чессно слово!!! Больше никогда... никогда-никогда не повторится!..

А помните, герой старого фильма Рязанова «Берегись автомобиля!» – его Смоктуновский играл – в очередной раз угоняет машину, продает ее, деньги переводит детскому дому, а когда возвращается назад в Москву, то прямо на вокзале заходит в телефонную будку и звонит домой (он с мамой живет): «Мама, как дела? Никто не приходил?» И мама ему в ответ: «Ты допрыгался, к тебе приходил следователь из уголовного розыска».

Так и папа переждал мои вопли и говорит: «Ты допрыгалась, тебе пришел конверт из казённого ведомства».

На конверте и вправду штамп серьезный стоял: «Издательство „Правда“». Белый такой конверт... У меня всё обвалилось внутри. Потом вспыхнуло перед глазами театральным золотым светом. Будто занавес взвился над судьбой. Мы открыли письмо, достали тоненький трепещущий листок фирменного бланка «Юности», – (помню, там в уголке была эмблема журнала: круглое девичье лицо с пшеничными колосьями вместо волос), – на котором было написано: «Ваш рассказ прочитан, понравился, планируем печатать его в январском номере 1971 года. Срочно пришлите фото».

Мы бросились искать по всему дому приличную фотографию, что было немыслимым делом: на одной я рожу корчу, на другой мне кто-то сзади рожки приставил... Наконец нашли, вроде, с культурным выражением на физиономии, но опять беда: фотография-то пляжная. Стою я в купальнике, на фоне гор. Папа говорит: «Если вот так отрезать, по плечи, то лямки купальника можно принять за лямки сарафана».

Мы отрезали и послали в редакцию заказным письмом.

Можете вообразить мое потрясение, когда потом на этой фотографии, опубликованной в журнале, я увидела пририсованный к моей тощей шейке школьный воротничок. Вот тогда я поняла – на уровне интуитивном – нечто очень важное. Не стоит писателю

раздетым щеголять. Его все равно потом разденут все кому не лень, срывая с него figовые листочки писем и дневников.



Так и началась моя литературная карьера. В то время я еще не предполагала, что это – моя будущая дорога, которая впоследствии станет целым трактом, со своими верстовыми столбами, постоянными дворами и придорожными кабаками...

– А В КЛАССЕ-ТО КАК РЕБЯТА ОТНЕСЛИСЬ?

– Смеялись. Решили, что это моя очередная хохма. Я ведь была таким классным шутком.

А наш математик, Игорь Абрамович, очень строгий учитель, он меня гонял, как Сидорову козу, часто за дверь выставлял... окинул ребят своим пронзительным взглядом поверх очков, и сказал: «Идиёты! Лет через двадцать вы будете хвастать, что учились с ней в одном классе».

И как в воду глядел: сейчас в разных концах земли ко мне после выступлений подходят неизвестные мне пожилые личности и задорно говорят: «Давай, вспоминай меня!»

А я, черт, ну никого не помню – такой врожденный порок! Не могу же я каждому объяснить это...

– НО СТОЛЬ РАННИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ УСПЕХ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ, ПОВОД ДЛЯ ЗАВИСТИ СВЕРСТНИКОВ... ПОВОД ЗАГОРДИТЬСЯ...

– С какой стати, боже мой? Послушайте, я видела в своей жизни столько вундеркиндов, из которых ни черта не вышло. Встречала десятки пишущих девочек и мальчиков, которые уже в 13 лет учились на первом курсе университета, или после школы триумфально посту-

пали в Литературный институт имени Горького... Заканчивали его и становились обычными чиновниками, какими-нибудь редакторами в газетах. Все эти ранние достижения ровным счётом ничего не значат, и ни о чём не говорят. В моем случае, это просто улыбка судьбы, такая Золушкина планида.

– *ЛИТЕРАТУРА СРАЗУ ВОСПРИНИМАЛАСЬ ВАМИ КАК РАБОТА?*

– Когда я строчила всю эту ерунду? Ну, какая там работа, помилуйте. Наоборот – бегство от работы, от учебы. Тем более, представьте мое потрясение, когда выяснилось, что за публикацию мне положен гонорар. И какой!!! Мне прислали из «Юности» перевод – 98 рублей! Вы сейчас не можете вообразить, что это за сумма. Ведь 120 рублей – была зарплата инженера, врача, педагога. А тут мне, соплячке, за какую-то наглуую писанину, которую я строчила на уроках математики, прислали аж 98 рублей...

Помню оторопь родственников. Мгновенный пересмотр всех ценностей.

Мама сказала: «О-о-о, мы должны что-то купить, чтобы у тебя осталась память о твоём первом гонораре».

Мы пошли на рынок (дело происходило в южном городе, в Ташкенте, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами: куча эвакуированных и оставшихся там одесситов, дикая жестикуляция, дикий темперамент, характерный одесский говорок), и на подходе к вещевым рядам из какой-то подворотни нас поманила спекулянтка. Тёмная личность, толстая баба в засаленных бриджах. Спросила:

– *Вы шо-та ищете?*

Мама в ответ:

– *Почему это вас волнует?*

Та сказала:

– *Я вижу: такая хорошая девочка, такая хорошая мама, вы должны ей шо-та купить.*

– *А что вы имеете? – спросила мама.*

– *На ваше счастье имею последнюю кофту такого цвета, шо вы рухнете!*

– *Интересно взглянуть...*

И та вытаскивает из мятого пакета розовую кофту, страшного, я бы даже сказала мучительного цвета, с такой фиолетовой искрой, что-то невероятное. Мама сказала:

– *Допустим, цвет нежный. И сколько?*

– *Пятьдесят.*

– *Ско-о-олько?! Ой, дайте я вас разбужу!*

– *Да вы рукой пощупайте!*

– *Что мне ее щупать за такие деньги!*

– *Это же чисто-шерсть!*

Как чёрт нас дёрнул, мы купили эту кофту. И спекулянтка сказала:

– *Шоб вы в этой кофте её замуж выдавали!*

Замуж: я, надо сказать, выскочила рано, кофта должна была бы дожить до этого знаменательного события, но не дождала. По-моему, она облезла тут же, пока я дошла до дома. «Зато, – сказала мама, когда я надела обнову, – зато у тебя останется память на всю жизнь».

Это был мой первый гонорар.

А потом я стала посылать в «Юность» другие свои рассказы, их продолжали печатать; вскоре я переползла во «взрослый» отдел прозы. Словом, на протяжении нескольких лет это был такой странный, исключительно почтовый роман между провинциальной девочкой и столичным журналом.

Но после того как вышла повесть «Когда же пойдёт снег?» и была инсценирована и поставлена на сцене московского ТЮЗа, (мне уже было 23 года, возраст почтенный), – ситуация круто изменилась.

Меня пригласили на премьеру спектакля. Я впервые оказалась в Москве и, наконец, познакомилась с сотрудниками журнала «Юность», побывала в редакции – на площади Маяковского...

– *ИНТЕРЕСНО, КАК ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ В 23 ГОДА, КОГДА ВИДИШЬ НА СЦЕНЕ СВОИХ ГЕРОЕВ?..*

– Ужасной идиоткой себя чувствуешь. Я приехала и сразу попала на генеральный прогон. Сидела в пустом зале – щуплая, в новых джинсах, в черном свитерке... и растерянно глядела на сцену, по которой бегали дяди и тети вдвое старше меня, проговаривая вслух слова, которые вот в этой черепашке родились.

Там еще какая вышла история... В повести у парня и девочки погибает в авиакатастрофе мать. И художник спектакля, недолго думая, взял мою фотографию из журнала «Юность», перерисовал ее в виде «портрета мамы» и повесил на сцене. Так что на протяжении всего действия «дети» то и дело обращались к этому моему портрету, трагически произнося что-нибудь вроде: «покойная мама... когда мама погибла... если бы мама была жива...» А я, понимаете ли, тут сижу, вполне живая, и, в общем-то, планирую еще чуток пожить... Знаете, это было довольно зябкое впечатление. Вот тогда я поняла, что искусство – страшная штука! Мой текст, мои мысли, мои чувства – лишь только появляются на страницах журнала или книги, принадлежат уже не мне. Рассказ, повесть вдруг становятся неким совершенно отдельным от меня явлением, которое гуляет в пространстве, в мироздании – само по себе. И у произведения, как у человека, оказывается, своя судьба.



Однако самым ужасным оказалось... кланяться со сцены. Вот вы когда-нибудь кланялись? Попробуйте. Это серьезное испытание. Все глаза на тебя устремлены. Тело твое становится деревянным и не сгибается – ни в шее, ни в корпусе. Помнится, у меня сгибались только колени, и я так неловко слегка приседала, болтая руками, как будто книксен делала... Ужасно! Не помню ничего более страшного в своей профессиональной деятельности...

А в 24 года меня угораздило стать членом Союза писателей, – самым молодым в стране.

– ЭТО БЫЛО ЛЕСТНО?

– Это было странно.

Вступить в Союз писателей СССР, то есть стать писателем патентованным, проштемпелеванным, в те времена было не легче, чем стать членом масонской ложи. Это был маги-

ческий круг, переступить который следовало как-то хитро, чуть ли не заклинания творя: членом Союза мог стать автор двух изданных книг; с другой стороны, издать книгу мог только член Союза... Это был нормальный бред советской жизни, одно из его проявлений. Помнится, замечательный поэт Вадим Левин рассказывал о своих многолетних мытарствах на этом поприще. Не кто-нибудь, а Борис Заходер пытался протолкнуть его в Союз писателей, провести сквозь Сциллу и Харибду приемной комиссии. Ничего не помогало. Однажды Заходер пробормотал:

– Может, придется Михалкова просить...

Вадим Левин осторожно спросил:

– Борис Владимирович... А разве Михалков – хороший человек?

Заходер ответил с непередаваемой горечью:

– Вадим, хорошие люди еще никогда никому не могли помочь...



Но я-то жила в благословенной «провинции у моря», где с благоговейным трепетом относились ко всему, что происходило в имперской столице. Мои публикации в столичном журнале наводили местных писательских бонз на мысль о неких моих возможных связях там (!)... Словом, судьба продолжала выписывать затейливые узоры, как пьяный на велосипеде, и я въехала в Союз писателей на жеребьячем энтузиазме доверчивой юности.

В то время я еще «не изрослась», как говаривала моя бабушка, «из своих идиотских штук». И когда приезжала в официальную и холодную, во всех смыслах – в отличие от Ташкента, – Москву, частенько провоцировала разные забавные и острые ситуации. Например, мне доставляло удовольствие разыгрывать вахтеров ЦДЛ – Центрального Дома литераторов.

Картинка по теме:

В те годы – не то, что сегодня, – это было весьма солидное заведение, цитадель советских писателей, трубадуров советской идеологии. Войти в особняк – бывший дворец князей Олсуфьевых, с баром, буфетом и великолепным рестораном в знаменитом Дубовом зале, возможно было только по билету Союза писателей. Так что бабки, вахтеры в ЦДЛ, были отлично натасканы и с успехом могли служить сторожевыми псами на колымской зоне.

А я, повторяю, щуплой была, совсем несерьезной особой, на вид подросткового возраста. И вот, с восторженной физиономией провинциала я устремлялась мимо дежурной бабки в фойе заветного особняка...

Сразу же – как выстрел в спину – несся вопль:

– Сто-о-ой!!! Ку-у-уда?!

Я послушно сдавала назад, робко подходила к бабкиному столу на входе.

– Эт куда, интересно знать, ты так резво несёшься, а?!

– Покушать... – докладывала я доверчиво. Я неплохая актриса. – Тут ведь... э-э-э... есть буфет, мне сказали?..

– Тут все есть! – отвечала всемогущая бабка с ядовитой улыбочкой. – Только не для тебя.

– Э-э-э... почему? – искренне удивлялась я.

– Да потому, что билет надо иметь, билет, ясно?

– Проездной? – уточняла я, кротко и даже преданно глядя в бульдожью ее личность.

– Ка-а-кой проездной, хосподи?! От бестолочь, а! Билет! Союза! Писателей!

Поняла?! Так... давай, пошла отсюда! Давай-давай, времени на тебя нету!

– А... так вы, может, имеете в виду... – тут я принималась суетливо и подробно обхлопывать свои карманы. Проходила минута... две... Я доставала и роняла на пол пла-точек, кошелек, троллейбусные талоны. Бабка наливалась свекольным соком. По сути дела, это была неплохая цирковая реприза. Когда, как мне казалось, пауза достигала кульминации, я, наконец, извлекала из заднего кармана джинсов заветный красный билет.

– Может, этот? – подобострастно спрашивала я.

Бабка бросалась коршуном на билет, так как ясно же, что это не мой. Наверняка, какой-нибудь бородастый «член» выдал свой билет очередной шлюшке, – попользоваться...

Это, знаете, был высокий момент – когда старуха раскрывала красную книжечку в предвкушении аппетитного скандала. И упиралась в мою фотографию. Подлинный катарсис. Шекспир! Шиллер! «Кольцо Нибелунгов»... До сих пор я с удовольствием вспоминаю эти, немо жующие губы... Эти трясущиеся бульдожьи брыла стражей порядка.

– ДА ВЕДЬ ТАК МОЖНО И ДО УДАРА ЖЕНЩИНУ ДОВЕСТИ!

– Можно. Я и сейчас никогда не упускаю случая поставить на место хама... Это моя охота.

Так вот, единственный раз меня пропустили в ЦДЛ без проверки. Это случилось в день знакомства с моим будущим мужем, Борисом. Узнав, что у этого симпатичного, хотя и бомжеватого на вид художника, сегодня – день рождения, я пригласила его посидеть в ресторане ЦДЛ. Вот тогда нас пропустили, не глядя – дело в том, что у Бориса, с его благородной лысиной и окладистой бородой уже в то время была внешность классика. А то, что пальтецо худое... так, может, свое пропил... С классиками здесь всякое бывало. Вахтерша ни на мгновение не усомнилась в наличии у него заветного писательского билета. Почтительно кивнула... Ну, а я уж бочком протырилась. Мало ли кого классики могли с собой привести из женского полу..

Между прочим, мы до сих пор вспоминаем, что за 12 рублей наелись в тот день в ресторане знаменитого Дубового зала ну просто от пуза! А вокруг сидели – это был особый урожай – сплошные знаменитости. Я наклонилась через стол и сказала Борису:

– Обратите внимание: за столом направо сидят такой-то, такой-то и такая-то. А за столом налево сразу пять звезд, как на хорошем коньяке: такая-то, такая-то, и такой-такой-такой...

Художник послушно повертел головой, взглянул на меня своими блестящими карими глазами и сказал с мягким украинским выговором:

– А по-моему, мы с вами здесь самые симпатичные люди.

И за эти его слова я вышла за него замуж. И перебралась в Москву.

– *И ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПРОДОЛЖАЛИ ПЕЧАТАТЬСЯ В «ЮНОСТИ»?*

– До определенного срока. Наша идиллия с «Юностью» продолжалась до тех пор, пока я не стала писать приличные вещи. Как только я задумалась над смыслом некоторых исторических событий и жизни вообще... меня, как и положено, перестали печатать. Лучшее из того, что на то время я написала – роман «На Верхней Масловке» и повесть «Двойная фамилия» – в редакции отвергли. И я, в сущности, понимаю – почему. Я перестала быть милой остроумной девочкой из Ташкента, со своей милой уютной «семейной темой». Выяснилось, что меня абсолютно не интересуют комсомольская героика и прочая советская мура. Антикомсомольская героика меня, надо сказать, тоже не интересовала никогда.

Я всегда с ужасом смотрела на диссидентов всех мастей, понимая, что это оборотная сторона медали. Помните, у Довлатова, кажется:

– Он же коммунист!

– Вы ошибаетесь, он антикоммунист!

– Это одно и то же! – (цитирую по памяти).

Я как-то всегда остро чувствовала, что это «одно и то же» – в том смысле, что и для поддержки режима и для сопротивления ему нужен определенный к нему интерес. Такой специальный общественный темперамент, заставляющий человека непрерывно жаждать борьбы – за что-то или против чего-то. А у меня весь темперамент уходил на самую жизнь, потому что ничего интереснее ее на свете нет.

Кстати, уже переехав в Израиль, я много раз наблюдала этих замечательных людей, пострадавших от советской власти, посидевших в тюрьмах, в «отказе», выкинутых из Союза в одночасье, то есть, в 24 часа... Все они по прибытии на историческую родину немедленно включались в борьбу – неважно против кого и чего. Те, кто сидел за преподавание иврита и еврейской истории, бросались создавать здесь «русские партии» и бороться за права «русских». Я не иронизирую. Повторяю – это разновидность человеческого темперамента, наличие в характере протестной компоненты.



Писатель Владимир Порудоминский рассказывал, что его соседка по коммуналке, старая, пропитая и прокуренная зэчка с внешностью старухи Изергиль, не раз повторяла: «Каждый советский человек должен отсидеть минимум шесть лет, чтобы стать ближе к народу!»

Ее сожитель, алкоголик Петя – он был чуть умнее ее, – возражал: «Маня, двух достаточно!»

Знаменитый «угонщик самолета» Эдуард Кузнецов рассказывал мне об одном политическом, который необычайно мужественно держался на допросах и на суде: никого не сдал, ничего не подписал...

На этапе блатные украли у него тапочки. Он боролся пять лет – писал во все инстанции, устраивал голодовки. Наконец, тапочки ему вернули... Когда закончился срок, он вышел на свободу и стал терроризировать жену. Стойкий мужественный человек, он был невыносим с близкими: скандалил, высоким голосом к чему-то призывал, обвинял в чем-то. Его характер был безнадежно деформирован: многие годы своей жизни этот человек положил на выколачивание тапочек.

– И ВСЕ ЖЕ ОТ ВЫСОКОГО-ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К ПРИЗЕМЛЕННОМУ, МАТЕРИАЛЬНОМУ: А НА ЧТО, ИЗВИНИТЕ, СУЩЕСТВОВАЛ В ТЕ ГОДЫ ЛИТЕРАТОР? КАРТОШКУ-ОГУРЦЫ НА ЧТО ПОКУПАЛ?

– Отличный вопрос! Отвечаю: огромный отряд советских литераторов кормился дружбой народов. На ней зарабатывали и мелкие сошки, и великие поэты – Пастернак, Ахматова, Тарковский... Помните проникновенные стихи о летящих журавлях Расула Гамзатова

в переводах Козловского и Наума Гребнева... а параллельно – анекдот про очередь в буфете ЦДЛ, в которой знаменитый поэт просит «адын кофе и два булка»?

Индустрия дружбы народов кормила очень многих. Сейчас уже существует немало воспоминаний на эту тему.

Я выросла и долго жила в Ташкенте. Узбекистан был крупнейшей республикой, основным поставщиком «белого золота» – хлопка. Главный советский хан – Рашидов – сам писал поэмы, поэтому любой мало-мальски уважающий себя функционер тоже стремился стать писателем. Его амбиции должны были воплотить в явь белые негры. Оплачивалось это неплохо. Я много понасосздавала шедевров узбекской прозы. Самым главным в этом деле что было – не отдать ни капли собственной крови, того драгоценного материала, который идет на производство своих вещей. Для этого мысленно перекрывался кран – где-то в мозжечке. И тогда немедленно заря становилась розовой, закат – багряным, розы рифмовались с морозами, любовь с кровью, и так далее... То есть, безграмотный и ужасающий подстрочник превращался в такой клеенчатый коврик, расписанный кишлячными лебедями. О, это была целая эпоха...

На панели *записки литературного негра*

В молодости, по причине крайней бедности и некоторых изнуряющих обстоятельств, мне пришлось пойти на панель.

Собственно, это была литературная панель, но особой разницы я тут не вижу. В кругу литераторов такой заработок называется «литрабством», и ни один знакомый мне литератор не избежал этой страшной участи.

Необходимо отметить немаловажное обстоятельство: дело происходило в советском Узбекистане, в период наивысшего расцвета «национальной по форме».

Узбекскую литературу работали три-четыре человека. Эти семижильные рабочие лошади обслуживали легион литературных аксакалов. Изрядную часть узбекской прозы писала, извините, я.

На одном из литературных семинаров ко мне зыбкой походкой подвалил подвыпивший классик и в порыве откровенности пожаловался, что переводчики не доносят его стихов до читателей. Плохо переводят, сволочи. Поэтому он сам написал стих. По-русски.

– Читай! – предложила я заинтересованно.

Классик сфокусировал взгляд и, профессионально выпевая строчки, разрубая рукою в воздухе размер, продекламировал:

Ты – любое моя, ты – свет моя!
Я хочу с тобой бит, я хочу с тобой жит!
Речах несмелая, ласках – умелая...
Походка нешумная... Умная-умная!
Я хочу с тобой бит, я хочу с тобой жит.
Ты – любое моя, ты – свет моя...

– Замечательно! – похвалила я. – Публикуй.

Но классик, видимо, почувал недоброе в моей усмехающейся физиономии.

– Нет, Динкя-хон! – он схватил меня за рукав.

– Ты правда скажи, ты чесна скажи: недостатка ест?

– Есть один недостаток, – сказала я честно. – По-русски «в ласках умелая» называется «блядь».

– Какой сложни русски язык! – схватился он за голову.

Эта невинная шалость не прошла для меня даром. Через несколько дней меня вызвал к себе секретарь Союза писателей, выдающийся классик узбекской литературы, хотя и неграмотный человек. Когда-то в далекой молодости он выпасал скот на пастбищах в горах Чимгана и недурно играл на рубабе, даже получил приз на районном конкурсе народных дарований. Собственно, с этого конкурса все и началось, а закончилось шестнадцатитомным собранием сочинений в тисненых золотом переплетах.

В кабинете секретаря союза сидел также мой давешний классик. На столе лежала пухлая папка, при виде которой я насторожилась.

– Ми силедим за тивой творчества, – начал бывший пастух с улыбкой благодушного визиря. – Решений ест: поручений тибе дат. Балшой роман ест, выдающийся.

Мне страшно не хотелось приниматься за строительство очередной египетской пирамиды.

– Большой рахмат, Сагдулла-ака, – заныла я. – Большой-большой рахмат... Очень горда таким важным поручением... Хотя, совсем болею, вот... Печень... почки... легкие... желудок...

– Путевка санаторий дадим! – перебил меня секретарь Союза. – Бери рукопис. Лечис, переводи.

– Желчный пузырь... – пробовала сопротивляться я, – прямая кишка, предстательная же...

– Э! Лючши санаторий поедешь! – поморщился он. – Дыва месяс – должен перевести... Вот Абидулла тебя выбрал, хороший характеристик имеет. Зачем много говоришь, а?..

Абидулла, трезвый на сей раз, курил дорогие импортные сигареты и важно кивал. Он приходился зятем хозяину кабинета.

– К сожалению, Сагдулла-ака...

– Э, слюшай! – улыбка доброго визиря спала с лица секретаря Союза. – Ти – пирозаик, да? Ки-нига свой хочеш издават, да? Союз писателей туда-сюда постулат, литфонд-митфонд член имет, а? Зачем отношений портиш? Балшой савецкий лит-ратура надо вместе строит!

Он сделал отсылающий жест кистью руки, подобно тому, как восточный владыка дает знак телохранителям уволочь жертву. Абидулла подскочил, вложил папку в мои слабеющие руки и поволок меня из кабинета, на ходу приговаривая:

– Динкя-хон, ти старасса, красива пиши. Я за эта роман государственный премий получу в облает лит-ратура!

Он впихнул меня в такси, сунул водителю трешку и помахал рукой:

– Денги мал-мал получишь, Союз писателей принимает буду, благодарныст буду делат. Пиши!

Тут же, в такси, развязав тесемочки папки, я пробежала глазами первую страницу подстрочника: «Солнце взошло на лазурный небо, Зульфия встал в огороде редиска копать, его девичье сердце трепещет от любви...»

Я читала и постепенно успокаивалась. Все это было привычным и нестрашным, переводилось с закрытыми глазами и левой ногою. То есть, предыдущий абзац в моем окончательном переводе выглядел бы, примерно, так: «Едва солнце тронуло пепельно-рассветную гладь неба, Зульфия открыла глаза с тревожно бьющимся сердцем – сегодня решалась ее судьба...», – ну и прочая бодяга на протяжении четырехсот страниц.

«Да ладно, – подумала я, – в конце концов, подзаработаю. Ну, Зульфия... ну, копает редиску! Да черт с ней, пусть копает на государственную премию, мир от этого не перевернется!»

Я листнула подстрочник дальше страниц на тридцать, и насторожилась, – потому что у колхозной героини Зульфии появилась откуда-то русская шаль с кистями, и вышитые туфельки, хотя, по социальному статусу и погодным условиям ей полагалось шастать в калошах на босу ногу. Заподозрив нехорошее, я стала листать подряд, и – волосы зашевелились на моей голове: посреди нормального подстрочечного бреда перед моими глазами поплыли вдруг целые страницы прекрасной русской прозы, мучительно знакомой по стилю!

Дома я немедленно позвонила приятелю-филологу, человеку образованному, умному и циничному, и в смятении скороговоркой выложила ситуацию.

Он помолчал, похмыкал.

– Как ты думаешь – по стилю, что это?

– Похоже, середина девятнадцатого. Может, Погорельский, может, Лермонтов. – Прочти-ка пару абзацев!

Я прочла то место, где колхозная героиня Зульфия на страстном свидании за гумном изъяснялась герою на пленительном литературном языке.

– Стоп, все ясно! – сказал мой образованный приятель-филолог. – Это Лермонтов, «Вадим», неоконченная проза. Твой Абидулла драл с него целыми страницами, как сукин сын... – Он тяжело вздохнул и проговорил: – Ну, что ж... так нам и надо. Будешь переводить.

– Я! Пе-ре-во-дить?! Да что ты несешь! Я устрою ему грандиозный литературный скандал, его вышвырнут из Союза писателей!

Мой приятель сказал, жалеючи:

– Дура, вышвырнут – причем, отовсюду, – тебя. Тебя, понимаешь? Из квартиры, из поликлиники, из химчистки, из общества «Красного креста» и защиты животных... Из жизни!.. Убогая, ты не представляешь – с кем имеешь дело...

– Как же мне быть? – упавшим голосом спросила я.

– Переводить.

– Кого?! Лермонтова?!

– Его, родимого.

– Ты с ума сошел... С какого на какой?

– С русского – на советский! – жестко проговорил мой умный приятель и повесил трубку.

Горе объяло мою душу. Дней пять я не могла приняться за работу, все крутилась вокруг проклятой стопки листов. Наконец, задушив в себе брезгливость и чувство человеческого достоинства, принялась за это грязное дело.

Немыслимые трудности встали на моем пути! В сюжете романа следовало объединить восстание крестьян против зверя-помещика, под предводительством бывшего Вадима, а ныне возлюбленного Зульфийи, Ахмеда, и колхозное собрание, где Зульфию премировали телевизором, как лучшего бригадира овощеводческой бригады.

К тому же, дура-Зульфийа называла Ахмеда «сударь мой», крестила его к месту и не к месту, и, как истинно правоверная мусульманка, восклицала то и дело: «Господи Иисусе!», а на другой странице кричала посреди дивной лермонтовской прозы: «Вай-дод! Он приподнял край чадры и увидел мое лицо!»



Днем я, как зловещий хирург, закатав рукава, проделывала над недоношенной Зульфией ряд тончайших пластических операций, а ночью... ночью меня навещал неумолимый в своей ненависти Михайл Юрьевич, и тяжело смотрел в мою озябшую душонку печальными черными глазами.

Наконец, я поставила точку. Честь Зульфийи была спасена, зато моя тихо подвывала, как ошпаренная кошка.

Мой приятель-филолог прочел этот бесстыдный опус, похмыкал и посоветовал:

– Закончи фразой: «Занималась заря!»

– Пошел к черту!

– Почему? – оживился он. – Так даже интересней. Все равно ведь получишь за этот криминал государственную премию.

Он посмотрел на меня внимательно и, вероятно, мой несчастный вид разжалобил его по-настоящему.

– Слушай, – сказал он, – не бери денег за эту срамоту. Тебе сразу полегчает. И вообще – смойся куда-нибудь месяца на два. Отдохни. Готов одолжить пару сотен. Отдашь, когда сможешь.

Это был хороший совет хорошего друга. Я так и сделала. Рукопись романа послала в Союз писателей ценной бандеролью, и уже через три дня мы с сыном шлепали босиком по песчаному берегу Иссык-Куля, красивейшего из озер мира...

...А вскоре начался тот самый Большой Перевертуц, который в стране еще называли «перестройкой», в результате которого все выдающиеся аксакалы из одного узбекского клана вынуждены были уступить места аксакалам из другого влиятельного клана. Так что наш с Лермонтовым роман не успел получить государственную премию, и даже, к моему огромному облегчению, не успел выйти. Какая там премия, когда выяснилось, что бывший секретарь Союза писателей – выдающийся классик узбекской литературы и тесть моего Абидуллы, – многие годы возглавлял крупнейшую скотоводческую мафию, перегонявшую баранов в Китай. То есть, до известной степени не порвал со своей первой профессией.

Но это совсем, совсем уже другая история.

Будет время – расскажу.

Глава вторая

Джентльмен в поисках сюжета

«...проза, помимо всего прочего, это еще и ремесло со своими трюками – мешок фокусника. И как ремесло она имеет свою собственную родословную, свою собственную динамику, свои собственные законы и свою собственную логику».

В. Набоков «Искусство литературы и здравый смысл»

– *КОГДА У ВАС ВОЗНИКЛО СТОЙКОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО ВЫ ПИСАТЕЛЬ?*

– Знаете, тут можно было бы заявить с некоторой долей кокетства, что у меня и сейчас нет стойкого убеждения, что я писатель (тем более, что у всякого литератора такие минуты случаются). Но у меня есть определенная точка зрения на то, что считать профессией. Если человек посвящает все свое рабочее время какому-то делу, и дело это его кормит, – он имеет полное право считать себя профессионалом.

С двадцати двух лет я кормлюсь сочинительством, отдавая ему все время, следовательно, я – писатель. Плохой или хороший, – не суть важно; это мое занятие, которым добываю своей семье пропитание.

– *ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ-«ПРОФИ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛА – ДЕВИЗОМ «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ», ПОЛУЧЕНИЕМ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ, УМЕНИЕМ ПРОЖИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГОНОРАРЫ?*

– Да нет, конечно же, вовсе не этим. Исключительно качеством работы, мастерской хваткой. У профессионала безукоризненно отлажена связка: глаза-мысль-рука. Помните, Чехов уверял, что может написать рассказ о чем угодно – о чернильнице, на которую упал взгляд?

Любой жизненный материал содержит в себе саморазвивающееся художественное зерно, которое «произрастить» может только мастер. Как хороший садовник, скупым и точным движением он отсекает секатором слабые боковые ветви и пустит ствол повествования расти ввысь.

– *ПИСАТЕЛЯ ИНОГДА СРАВНИВАЮТ С ЭКСТРАСЕНСОМ: ТОННЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ – ЛЮДЯМ, А ЧТО – СЕБЕ? НЕ ОСТАЕТСЯ ЛИ ОЩУЩЕНИЕ ПУСТОТЫ, НЕВОСПОЛНЕННОСТИ ДУШЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА? НЕ СЛИШКОМ ЛИ ДОРОГА ЦЕНА ОБНАЖЕНИЯ ДУШИ?*

– Во-первых, профессия писателя – отнюдь не всегда «обнажение души»; это, скорее, строительство своего пространства; вообще, творчество, это, конечно, использование и своего жизненного опыта, но оставаться перед читателем в нижнем белье... это выбирает далеко не всякий художник, а если уж выбирает, то это такое белье, что – как говорила моя бабушка – «есть на что посмотреть, и есть что пощупать».

Во-вторых, каждый из нас, и не только писатель, всегда платит за все валютой собственной жизни: за счастье, за творчество, за любовь, за увлечения... Боюсь, то самое ощущение пустоты, душевной невосполненности, о которых вы говорите, возникают время от времени у любого человека. У писателя же есть преимущество: он «страж времени», в его власти – запечатлеть миг, день, сценку, разговор, сильное переживание, прошлогоднее цветение жимолости под балконом – то самое «остановись, мгновенье!» Так что, мы, полководцы слов и фраз, наоборот, в более выгодном положении: у нас, помимо груза нашей собственной жизни, есть еще «дополнительный вес», разрешенный небесной таможней.



– КАКИМ БЫ ЖАНРОВО И СТИЛИСТИЧЕСКИ РАЗНООБРАЗНЫМ НИ БЫЛО ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ, ОН ВСЕ ЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАБОРОМ ПРИЕМОВ, СУММИРУЯ КОТОРЫЕ, КРИТИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГОВОРЯТ О СТИЛЕ ТОГО ИЛИ ДРУГОГО МАСТЕРА. ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ?

– С тем, что, взламывая этот мир, каждый писатель пользуется своими личными отмычками? Разумеется.

Виктор Славкин мне рассказывал, что в конце семидесятых годов прошлого уже века некий старый еврей, ремесленник-драматург, учил его, как писать пьесы:

– Витенька, – говорил он со скептической миной на лице, – пьесы писать очень просто! Что такое пьеса? Это: завязка-кульминация-развязка – всё!!!

И, знаете, до известной степени эта схема подходит любому жанру. Ведь если вдуматься: любое произведение, хочешь-не хочешь, должно начинаться с некой расстановки героев и событий, затем эти силы взаимодействуют до абсолютного осуществления и исчерпания всех мотивов данного материала. После чего автор должен как-то выкручиваться из ситуации. Помните чеховское: «в финале герой либо женись, либо застрелись» – и это та ужасная, и совсем не смешная правда, с которой писатели вот уже много веков ничего не могут поделать. Между нами говоря, ведь и сюжетов в литературе – всего тридцать шесть. Не помню, кто из великих жизнь положил на то, чтобы изобрести тридцать седьмой сюжет, но ему это не удалось.

Совсем иное дело – байка! Она рождается из ничего, выскакивает, как черт из табакерки и содержит в себе капсулу спонтанного сюжета, для воплощения которого никакие «приемы» не нужны.

Несколько раз я сама бывала свидетелем рождения байки.

Картинка по теме:

Однажды, году в девяносто седьмом, я оказалась с выступлением в Берлине. В те же дни там выступали писатели и журналисты, такая бригада-десант газеты «Московские новости», в те годы едва ли не самой популярной. В этой бригаде были Виктор Шендерович и Юрий Рост, известные журналист и фотохудожник. Мы встретились на приеме в «Русском доме», и, прогуливаясь по залу с бокалами в руках, разговорились.

– Юра, – сказала я, – помню один фотопортрет вашей работы: того грузинского актера, что играл в сериале по роману «Дата Гутаихия». У него еще такое, виртуозное для языка имя – Отар Мегвинатухуцеси... Отличный портрет: он стоит, небрежно опершись на невысокую коринфскую колонну – в ослепительно белой сорочке, во фраке, в бабочке, в цилиндре и... босой! И такие у него синие-синие глаза...

Юрий покивал:

– Да, да... А вы знаете, что он снялся в фильме по Библии?

– О! Кого играл? Христа?

– Да нет, просто они на «Грузия-фильм» сняли ленту по мотивам библейских сюжетов, но все – на грузинский лад.

– Что это значит? – удивилась я.

– Да просто: если в Библии говорится о пастухе, то в кадре мы видим грузинского пастуха, а вокруг по грузинским холмам гуляют грузинские овечки. Если речь идет о дровосеке, то на экране – идет грузинский дровосек, несет на плече вязанку грузинских дров. Если притча о сыроваре – в кадре мы видим грузина в сванетке, перед которым на доске разложены грузинские сыры...



– Юра, минутку... – уточнила я. – Но распинают-то, все-таки, евреи?

Рост загнулся на мгновение, и быстро проговорил:

– Грузинские евреи!

И мы с Шендеровичем одновременно расхохотались. Я поняла, что родилась байка, и с тех пор везде ее рассказываю.

И, между прочим, еще одна трогательная история о Библии на грузинский лад.

Моя подруга родилась в Тбилиси и провела там все детство. Родители наняли для девочки няньку, старую красивую грузинскую женщину из какого-то села. И вот, каждый вечер, укладывая свою трехлетнюю подопечную спать, няня рассказывала ей сказку. В комнате стояла полнейшая тишина, только из-за двери ровно и глухо-торжественно звучал голос старой грузинки.

Однажды отец девочки, заинтригованный такой необычной кротостью своей непоседливой дочки, подкрался к дверям – послушать, что ж это за сказки такие.

И услышал:

– И та-агда Иисус Христос ударил посохом, рассек воды Черного моря, чтобы грузины пра-ашли по дну и вышли на берег прекрасной Грузии!



– *ГДЕ-ТО ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ – ЭТО ПЛЮШКИН, КОТОРЫЙ ПОДБИРАЕТ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ.*

– Подбирает, улавливает, подглядывает, унюхивает, крадет у коллег... и делает все своим. Все мое: к чему наклонилась, что подобрала, что увидела, за чем потянулась, – все мое, если это художественно переработано, пропущено через все фильтры литературного дарования, самые мощнейшие фильтры, и воплощено в художественную реальность...

Писатель – уникальный архивариус, страж времени, странный персонаж, – в его котомке фасоны одежды, марки машин, блеск жестяной крыши сарая, смятая салфетка с мимолетным адресом, едва подсохшая слеза на скуле хохочущей девушки, лепнина балтийских облаков... И когда из всего этого барахлишка вдруг оживет и зашевелится кусочек времени, отрезок эпохи... вот уж ликование, вот радость!

– *А МОЖНО ПРИМЕР?*

– Ну-у... скажем, однажды я невольно подслушала разговор мужчины и женщины за соседним столиком в кофейне. Разговор велся на повышенных тонах – обоим было все труднее себя сдерживать. Из реплик постепенно выяснялось, что это – супруги, прожившие двадцать семь лет. И вот теперь муж уходит к другой женщине, даже не моложе, не красивее... просто – к другой. И его жена, из последних сил пытаюсь оставаться в рамках «публичного приличия», все пыталась выяснить: чем взяла соперница.

– Ну что, – спрашивала она в пятый раз с горечью, – что тебя в ней привлекло?

– Она сделала из меня человека! – наконец, в сердцах выпалил муж.

– Что это значит? – с оторопевшим лицом спросила жена.

– Она многому меня научила!

– Ну, чему, чему она тебя научила? – чуть ли не выкрикнула женщина. – Например?!

– Например, она вывела у меня перхоть!

Смешно? Конечно, смешно, если не думать о том, что оба страдают. Но этого недостаточно для читательского сопереживания. Это просто диалог. Кому-то оба покажутся нелепыми, кто-то посочувствует женщине, кто-то – мужчине... И только писатель властен придать этой мгновенной сценке объем, причем, какой захочет – трагический или комический. В зависимости от обстоятельств. Например, если читатель узнает, что мужчина-то тяжело

болен, и диагноз его известен только жене, которая уговорила онколога пока не сообщать больному приговор... Или, наоборот, больна та женщина, разлучница, и он это знает... Или никто не болен, но...



– *Я ВИЖУ, ПИСАТЕЛЬ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ?*

– Ну что вы, какая это работа. Это ежеминутная гимнастика воображения по любому поводу. Мгновенные творческие импульсы на малейшие раздражители реального мира. Неуловимые приказы мозга, в вечной засаде стерегущего «добычу».

– *А ВЫ ЗАПОМИНАЕТЕ ТАКИЕ СЦЕНКИ, ИЛИ ЗАПИСЫВАЕТЕ? И КАК ОКРУЖАЮЩИЕ ОТНОСЯТСЯ К ТАКОМУ ФИКСИРОВАНИЮ ИХ СЛОВ, ИХ ЖИЗНИ – БУКВАЛЬНО НА ИХ ГЛАЗАХ?*

– Нет, я пытаюсь, мучительно пытаюсь запоминать, хотя надо уже плюнуть на все приличия. Память-то с возрастом не молодеет. Помните, Толстой писал в дневнике: «Старею. Путаю имена сыновей. Не важно! Все – дикие».



Так вот, я еще стараюсь оставаться в рамках светского общения. Игорь Губерман, у которого в кармане всегда блокнотик и карандаш, рассказывал мне, что, услышав или увидев что-то ценное, немедленно отлучается в туалет, и там, присев на краешек унитаза, аккуратно все заносит в блокнотик. И ведь это – человек, который и сам чуть ли не ежеминутно извергает афоризмы и каламбуры, которому, казалось бы, можно и побрезговать оброненной кем-то фразой... Но вечный хищный тонус охотника за скальпами... И ведь знаете, надо же еще приличную мину соблности.

Картинка по теме:

Недавно я заскочила к своему врачу – выписать рецепт. В приемной передо мной уже сидят две пожилые дамы, и в кабинете, судя по голосам – еще одна. Причем, кабинет от приемной отделяет тонкая стенка, так что врачебная тайна отдыхает. А если еще учесть, что к нашему «русскому» доктору записываются в основном «русские» пациенты... можешь быть уверен, что весь городок скоро будет в курсе всех твоих немочей.

Короче, пристраиваюсь я в очередь, а за стенкой, между тем, идет беседа врача с пациенткой:

- Доктор, выпишите мне яду!
- Я не выписываю ядов, у меня другая профессия.
- Нет, выпишите мне яду, я не буду больше жить с такой болью в колене!!!
- Так, хорошо, яду. Что еще?
- И лекарства на три месяца...

В эти же мгновения другое мое ухо фиксирует неспешную беседу тех двух дам, которые сидят в очереди передо мною:

– Вы слышали, у Гуревича жена умерла. Бедный, он так страдает... На нем просто нет лица!

– Ай, оставьте, на нем есть лицо! На нем нет чистой рубашки. Ну, ничего: вот она умерла, вот он ее похоронил, скоро женится, и на нем будет лицо, и на нем будет чистая рубашка!

Наконец, из кабинета выходит любительница ядов, и входит следующая пациентка. Эта как раз к лекарственным препаратам относится с подозрением:

- Доктор... вы мне сказали пить две таблетки: красненькую и желтенькую.
- Да-да. Одну вы принимаете до еды, другую – после.

– Доктор... я как раз хотела спросить: можно я буду принимать только красненькую?
– Да что вы, это разные лекарства от разных болезней! Будьте любезны – одну до еды, другую – после!

– Знаете, доктор... тогда я буду принимать только желтенькую...

В кабинете наступает зловещая тишина, как перед взрывом. Наконец, вскипающий голос доктора:

– Послушайте: Фишер и Фридман – это одно и то же?!

Снова тишина, озадаченная...

– А я с ними не знакома... – наконец, искренне отвечает дама.

И я, закусив губу, сижу с каменным лицом, чтобы, выйдя из кабинета врача, тут же записать на обороте рецепта не только «слова песни», но и интонацию – что не менее важно.

– **ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ОБУЧИТЬ ПИСАТЕЛЬСКОМУ МАСТЕРСТВУ?**

– Нет, конечно. Это все равно, что учить ребенка ходить, объясняя – какой ногой и как ступать. Но образовать его, обучить каким-то расхожим приемам ремесла – можно вполне... Скажем, погрузить в среду, которая отшлифует дарование...

Картинка по теме:

Году в восемьдесят пятом мы с Борисом оказались в Доме творчества писателей в Гаграх. Познакомились там с трогательным старичком, не помню, как его звали, – скажем, Степан Ильич. Оказалось, что Степана Ильича только три года назад приняли в Союз писателей. А до этого он всю жизнь был замдиректора по хозяйственной части Дома творчества «Переделкино». И всю жизнь писал стихи, допекая известных писателей, постояльцев «Переделкино», просьбами прочитать и «дать свою оценку».

Говорил он размеренно, степенно, таким эпическим зачином:

– Да-а... У нас каждый год поэт Луговой жывал, по два, по три месяца... Да-а... И я однажды решил ему стихи показать, попросил нашего директора – они с Луговым были приятелями, – чтобы составил протекцию. Тот все выяснил, договорился, и сказал мне:

– По вечерам Луговой медитирует. Вот как увидишь вечером, что свет у него зажегся, – выжди часа два, потом иди... Да-а... Я так и сделал... Поднялся по лестнице, постучал... услышал: «Войдите!»... Открыл дверь и вошел. Луговой сидел на полу, в позе лотоса. Принял меня приветливо, но подниматься не стал. Взял тетрадку с моими стихами... глазами по строчкам побежал, кивал, кивал... Что-то хвалил... Да-а... Одну строку только раскритиковал. Там у меня такое слово было – «стезя». Он ногтем эту строку отчеркнул и сказал: «„Стезю“ – к ебене матери!»

Между прочим, этот Степан Ильич потом и в Литературный институт поступил, в семинар Михаила Светлова. Рассказывал, что на первом занятии Светлов велел каждому студенту-новичку прочесть по одному своему стихотворению. Пока ребятки завывали, Михаил Аркадьевич сидел, дремал... Когда отчитал свои вирши последний студент, Светлов открыл глаза и сказал: «Ну, поэтов из вас не выйдет, а стихотворцев я из вас сделаю. Стоит это будет недорого: бутылку водки».

– **ПОХОЖЕ, ТЕМА «СВЕТЛОВ И ВОЗЛИЯНИЯ» НЕИСЧЕРПАЕМА. ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МНОГИЕ ИСТОРИИ НА ЭТУ ТЕМУ ВОЗНИКЛИ УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЭТА?**

– А это неважно. Кристаллизация мифа – дело обычное в том, что касается биографии знаменитых людей. Процесс активизируется именно после того, как человек умирает. Ведь,

если вдуматься, на всем протяжении истории культуры мы имеем дело с мифами. Они возникают при жизни творца (или сразу с его смертью), отвердевают, обрастают деталями, служат основой для творчества более поздних поколений творцов. Возьмите заведомо сомнительную легенду о Моцарте и Сальери. Сколько споров она породила. Но и гениальную пьесу Пушкина – тоже.

Кстати, о Сальери, Моцарте и... опять же, Михаиле Светлове. Возможно, очередная байка. Возможно, миф. Светлова обсуждали на заседании бытовой комиссии Союза писателей, ругали за пьянство. Тот слушал-слушал, наконец, вспыхнул:

– Да что вы пристали! – говорит. – Все великие пили!

– Кто – пил?

– Да все: Мусоргский пил, Глинка пил, Моцарт пил...

– Что?! Что Моцарт пил-то?! – возмутился кто-то из партийных функционеров.

– А что Сальери ему наливал, то и пил, – мгновенно ответил гениальный Светлов.

– ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ СОЗДАЕТ ПИСАТЕЛЬ, ЗАПОЛНЕНО ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. ЧАСТЕНЬКО ЭТА ЭНЕРГИЯ ПО КАКИМ-ТО СВОИМ ЗАКОНАМ ПЕРЕТЕКАЕТ В РЕАЛЬНОСТЬ. НЕМАЛО «ПИСАТЕЛЬСКИХ» СЛУЧАЕВ, КОГДА АВТОР ПРИДУМЫВАЕТ СЮЖЕТ, А ТОТ ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОБРУШИВАЕТСЯ НА НЕГО С ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЗЕР КАЛЬНОСТЬЮ. ТАК БЫЛО С ТЭФФИ, С РОМЕНОМ ГАРИ. С ВАМИ ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ?

– Я настолько хорошо знакома с этим потусторонним законом и настолько в него верю, что в каждое новое литературное плавание отправляюсь как сталкер – в зону, не зная, вернусь ли целой. Пока писала повесть «Высокая вода венецианцев», где смертельно больная героиня отправляется в Венецию, раза два добивалась у врачей тщательных обследований. А мама моя вообще плакала... Вроде, пока пронесло... не знаю – надолго ли... В этом отношении наша профессия, «создание параллельных реальностей» так же опасна, как опасно дело ликвидаторов. Все время ждешь определенной дозы облучения.



Но бывают и очень смешные «обратки». В романе «Синдикат» я описываю деятельность особого отдела некой гигантской организации, которая занимается розыском бесследно исчезнувших израилевых колен, угнанных когда-то в древности из страны Навуходоносором. Эти ушлые чиновники, дабы не потерять деньги американских спонсоров, «находят» потерянные колена то на Крайнем Севере, то в джунглях Амазонки... Словом, сочиняя, я повеселилась на славу, погуляла по просторам материков. И вот, не так давно, читаю в одной из авторитетных израильских газет, что некое племя «майори» в Новой Зеландии объявило себя потомками потерянных колен. Поди, после такого, еще что-то придумывай!

Картинка по теме:

Наш приятель, американский дипломат Илья Левин три года служил в Эритрее. Когда я впервые услышала название страны, я даже не поняла – о чем идет речь. Выяснилось, что это государство такое в Восточной Африке, на берегу Красного моря. Кстати, недалеко от нас.

Эритрейцы, рассказывал Илюша, люди темнокожие, однако с тонкими удлинёнными лицами, выразительными чертами; встречаются и очень красивые экземпляры. Сами считают, что происходят от царицы Савской и царя Соломона. Исповедуют какую-то раннюю форму христианства, близкую к иудаизму. Носят сплошь и рядом библейские имена.

Например, девушку, которая ходила к Илюше убирать, звали Ерузалем. А садовника вообще простенько звали: Адонай (молитвенное обращение к Богу).

Илюша сфотографировал на улицах несколько лиц, поразительно напомнивших ему лица знакомых и друзей, только темнокожих.

– И что любопытно, – говорит он, – эритрейцы – расисты. Внимательно следят за родословной, предков знают до десятого колена. Презрительно относятся к неграм, так и называют их – «негры».

– Вот скоро будет у меня дочь выходить замуж, – рассказывает повар дипломатической миссии. – И что ж вы думаете – я внимательно изучу родословную жениха: нет ли там негров! – При этом устрашающе выкатывает на Илью белки глаз, раздувает черные ноздри...

В стране безобразничают обезьяны – приземистые крепкие бабуины. Они нападают на людей, особенно в поисках жратвы. Причем, действуют по двое, как бытовые хулиганы. Идет, скажем, человек из магазина с полными сумками еды. Па него нападают бабуины: один сзади хватает за волосы, оттягивает голову, другой жилистым кулаком бьет прямо в лицо. Человек от боли и неожиданности роняет сумки, те хватают их – и таковы. Прямо национальное бедствие.

В стране есть и европейские евреи. Раньше их было человек пятьсот, но когда к власти пришли коммунисты, за считанные месяцы все они страну покинули. Сохранилась синагога, напоминающая старые пражские синагоги – с благородной гулкой пустотой внутри. Сейчас за ней присматривают двое – дядя и племянник. Причем, когда один выезжает из страны, другой всегда остается – присмотреть за хозяйством.

Илюша долго не мог попасть в эту синагогу – она большую часть времени закрыта. Наконец, кто-то из американской миссии сказал, что завтра, в субботу, синагогу откроют, и требуется миньян – непременно десять человек для молитвы, – это была годовщина смерти то ли жены дяди, то ли матери племянника.

Илья пришел, собрался миньян: двое из американской миссии, один человек из британской, один – из французской. И рыбаки с израильского судна, стоявшего в порту.

Илья говорит:

– Я был очень напряжен, боялся своего невежества, боялся, что вызовут к Торе, а я ну такой неотесанный по части молитв! Однако напрасно боялся: самыми непросвещенными в религиозном культе оказались израильские рыбаки.

– Да? – удивилась я. – Почему?

– Потому что родом они были из Астрахани.

– **ВАША ТОЧКА ЗРЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?**

– О да, несравнимо! Ведь литературная реальность это и есть – настоящая идеальная жизнь, в том смысле, что «история» ее очищена от ненужных деталей, бездарно прожитого времени, лишних в твоей судьбе людей, и у героев нет ощущения, что они совершают совсем не те поступки, какие им положено совершить, – то, что нас постоянно преследует в жизни.

– **СКАЖИТЕ, ДИНА, ЭТА ДАЖЕ НЕ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, А ЗНАКОМОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ – ВАШ ФИРМЕННЫЙ ХОД? ОСОБЫЙ ПРИЕМ МАСТЕРА? ИЛИ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, И ВСЕ ТУТ?**

– «Так получается, и все тут» – это несбыточная мечта юного графомана, такая грёза о Музе, которая явится, погладит по макушке, мимоходом наваяет тебе шедевр – «и все тут». В реальности это семнадцатый вариант диалога, от которого тебя с утра тошнит, и который завтра все равно переделываешь в восемнадцатый раз. Персонажи очень взыскательно относятся к тому, сколько времени ты им посвящаешь: «Ах, ты занималась моей походкой две минуты? Не пойду. Или пойду так, чтоб читатель не поверил ни единому шагу».

Выдающийся художник Эжен Делакруа говорил: «Время не щадит то, что сделано без затраты времени».

– **ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕЧИ С КЕМ-ЛИБО ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССИКОВ (И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЕЛЕЙ, НО УЖЕ УШЕДШИХ), С КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОБЕСЕДОВАТЬ?**

– Нет-нет, увольте. Знаете, ведь никто из них не был симпатичным человеком, в том смысле, в каком нам хотелось бы видеть кумира. И все лучшее, что нёс на земле их дух, все великое, что породила их муза, у нас уже есть. Довольно. Все остальное – всего лишь оболочка со скверным, чаще всего, характером, недостатками, а то и пороками, из которых самый невинный – пьянство... Вы полагаете, милый разговор у нас получился бы с Гоголем, творчество которого я весьма почитаю? С Достоевским (мне даже представить мучительно свою встречу с этим омерзительным ксенофобом)? Или вы думаете, что вам показался бы душкой Лев Николаевич Толстой? Чехов, пожалуй, был бы, по крайней мере, вежлив, но душу вам тоже вряд ли бы раскрыл...

Все это были, прежде всего, люди, люди – со своими болезнями, своими пристрастиями... Со своими чудовищными странностями!

Скажем, есть в Швейцарии знаменитый водопад: ослепительная стена серебряных брызг, грандиозная и величественная... На протяжении веков множество великих воспело этот водопад: о нем слагали стихи Тете и Шиллер, Карамзин описывал его в своих «Записках русского путешественника», Наполеон упоминал с восторгом. Александр Первый заказал известному художнику свой портрет на фоне этого самого водопада...

В свое время навестил Швейцарию и Лев Толстой, зеркало русской революции, совесть нации, выразитель народных чаяний. Осмотрел достопримечательность и написал в дневнике что-то вроде: «Видел здешний водопад. Совершенно бесполезное зрелище!»



Нет, писателей давайте читать, смотреть картины живописцев, внимать игре выдающихся актеров, слушать записи великих певцов. Это вершины человеческого духа в очищенном, так сказать, виде. Хотя, конечно, есть люди, о которых я вспоминаю с радостью и сжатием сердечной мышцы. Жалею, что мало виделась с Зиновием Ефимовичем Гердтом, например. Но это уникальный случай равенства высокой души с великим талантом артиста. Причем, его жена, Татьяна Александровна Правдина, – вот уж кто ему под стать.

Говорят, мэр городка, где родился Зиновий Ефимович, решил установить ему памятник. Заказали работу какому-то известному скульптору, хороший получился памятник. И вот перед установкой мэр звонит, говорит:

– Татьяна Александровна, я решил на постаменте выбить такую надпись: «Великому артисту».

Татьяна Александровна помолчала и сказала:

– Оставьте что-нибудь Чаплину.

Знаете, когда я услышала эту историю, то сразу представила, как в ту минуту из-за плеча Тани выглядывает сам Гердт.

– ЧИТАТЕЛЕЙ ВСЕГДА ВОЛНУЕТ, КАКОВО СООТНОШЕНИЕ ПРАВДЫ И ВЫМЫСЛА В КНИГЕ. ЕСТЬ ЛИ У ГЕРОЕВ РЕАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ? ВЕДЬ, ВСКРЫВАЯ НАРЫВЫ, ПОНЕВОЛЕ ПРИЧИНЯЕШЬ БОЛЬ. СЛУЧАЛОСЬ ЛИ СТАЛКИВАТЬСЯ С ОБИДОЙ И НЕПОНИМАНИЕМ СО СТОРОНЫ ПРОТОТИПОВ?

– О, это мой любимый вопрос. Обида? Непонимание? А судебный иск тысяч на 250 шекелей – не хотите ли? А тьма тьмущая денег, ухлопанная на адвоката, который должен доказать, что ты не верблюд? Хотя сам-то ты уж точно знаешь, что – верблюд, верблюд, да что там верблюд, – волк, шакал, гиена!

Ведь это особый природный процесс – создание иной реальности, художественного произведения. Ну, казалось бы: что тебе стоит изменить внешность героя, чтобы он резко отличался от прототипа, тем более, что в тексте герой все равно всегда получается совсем иным? Поменять ему имя, биографию, пол, наконец?!

Увы, это почти наверняка убьет вещь в зародыше, поскольку на первом этапе создания текста, пока герой не зажил своей собственной жизнью, он соединен с прототипом живой и тонкой нитью примет облика, деталей биографии, звучания имени... Зато потом, когда герой начинает жить собственной жизнью, прототип, как говорят подростки, «может отдышаться» – он становится настолько бледной тенью литературного персонажа (при условии таланта автора произведения, конечно), настолько по сравнению с ним не интересен, что и говорить не о чем. По моему глубокому убеждению, прототипы персонажей, даже тех, которых критики называют «отрицательными», должны были бы платить нам, авторам, за увековечивание. Ведь это поистине «памятник нерукотворный».

– ОДИН ГЕРОЙ ГОГОЛЯ СТРАШНО БОЯЛСЯ, ЧТО КАКОЙ-НИБУДЬ АВТОР ЕГО В «КОМЕДИЮ ВСТАВИТ», «ЧИНА, ЗВАНИЯ НЕ ПОЩАДИТ, И БУДУТ ВСЕ СКАЛИТЬ ЗУБЫ И БИТЬ В ЛАДОШИ». ВАМ ПОНЯТЕН ЕГО УЖАС?

– Еще как понятен, а что подделаешь? Действие пьесы Гоголя «Ревизор» происходит в городе, если не ошибаюсь, Устюг. Говорят, чиновники себя узнали, был скандал... Ну, и кому это сейчас интересно? С внутренним трепетом надо не писателем становиться, а няней в детском саду. Писатель – человек тяжелый, необходимый, и дело имеет с инструментом тяжелым, острым, опасным – как каменщик. Работает – искры сыплются. К тому же, так называемый прототип, сверяя внешность и примеряя одежды героя, слишком много берет на себя, слишком нагличает: персонаж всегда его острее, рельефней, значительней и поучительней. Поскольку он – литература. Кто-то из писателей замечательно сказал: «Жизнь – черновик литературы».

Правда ведь не в буквализме, а в подлинности ощущений. В моей книге «Несколько торопливых слов любви» есть новелла о моей сестре – «Альт перелетный». Сестра позвонила из Бостона нашей маме и сказала: «Все врет, все врет! Ни одного слова правды!» Мама прочитала новеллу и сказала мне: «Я проплакала целую ночь. Все – чистая правда».

Причем, я еще не самый злостный «пользователь всего живого».

Пряатель Ярослава Гашека, переводчик с древнегреческого, однажды сказал ему: «Ты можешь писать обо мне все, что угодно. Можешь даже написать, что я горький пьяница, но не приписывай мне того, что я не говорил».

Ташек тут же написал (передаю по смыслу): «Мой приятель такой-то просил не приписывать ему чужих мыслей. Но у него своих мыслей никогда и не было. Он всю жизнь переводит мысли великих – Гомера, Платона, Аристотеля, – которые и пересказывает собу-

тыльникам в пивной, когда напивается, как свинья. Правда, о том, что он напивается, как свинья, он мне позволил писать».



С точки зрения обывателя, подобный ход, разумеется, верх неприличия, даже подлость. С точки зрения писателя, не дело даже задумываться над тем, прав он или не прав. Он просто орудие. И надо быть готовым, что от тебя отвернутся близкие, что, в конце концов, ты останешься одиноким, как желтый огурец в осеннем поле. И не бояться. Ничего не бояться.

«Страх писателя грозит потерей квалификации» – говорил Михаил Зощенко.

А судебный иск, разборки, иногда мордобой, – все это замечательно для творческой биографии. Это свидетельствует о литературной качественности фантомов. Значит, фантом

оказался настолько живым, – как пражский Голем, который охранял ворота гетто, – что посторонние его боятся.

Если же отвечать серьезно – ни одни аптекарские весы на свете не покажут вам точного соотношения в тексте правды и вымысла. Вымысел беспределен; он проникает в каждую пору так называемой «правды», которой вообще-то не существует, вернее, которая существует в бесчисленном множестве вариантов, и лепит истинную правду – художественную. Очень точно об этом написал прозаик Александр Мелихов: «Никакие предметы не могут быть прекрасными – прекрасными бывают лишь рассказы о предметах».

– ВАШ МУЖ, ХУДОЖНИК БОРИС КАРАФЁЛОВ, ЧАСТО ОФОРМЛЯЕТ И ИЛЛЮСТРИРУЕТ ВАШИ КНИГИ. ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ СБОРНИКИ «ХОЛОДНАЯ ВЕСНА В ПРОВАНСЕ» И «ЦЫГАНКА», ЦЕЛЮЮ СЕРИЮ ОБЛОЖЕК. КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ТОГО, ЧТО РАБОТЫ ВАШЕГО СУПРУГА СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ В ВАШИХ КНИГАХ?

– Так ведь иллюстрирование книг жены-писательницы самая-то и есть супружеская обязанность мужа-художника. В этом нет ничего удивительного, я таких пар знаю немало. Например, книги Марины Москвиной почти всегда оформляет ее муж Леонид Тишков. Это естественно: художник не только читает готовую рукопись, но и присутствует при ее постепенном рождении, выслушивает всякие попутные глупости по теме, покорно сидит, когда ему читают куски, опять покорно сидит, когда читают переделанную рукопись, потом бесконечно сидит над рисунками, которые жена бракует, бракует и бракует, чего бы она никогда себе не позволила в совместной работе с посторонним человеком... Это и называется содружеством двух творческих личностей, измученных друг другом.

Вообще, я с художниками всегда дружу. Это рабочие искренние люди, в большинстве своем далекие от подсиживаний и дразг. Я ведь, не забывайте, и дочь художника, с четырех лет – модель. Причем, отец у меня человек строгий: как посадил, так и сиди, даже если у тебя правая нога отваливается, а левая рука превратилась в кусок копченой колбасы. Чуть подбородок опустишь, папа нахмурится и черенком кисти его «подправит», весьма чувствительно. С детства мои ноздри щекотал запах скипидара, лака, краски, клея от свежего холста, запах дерева – от новеньких подрамников... Я художников люблю, это все моя среда, моя жизнь...

– КАК ДВЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТИ УЖИВАЮТСЯ В ОДНОМ ДОМЕ? ЭТО КОМФОРТНО, КОГДА В СЕМЬЕ ВСЕ ТВОРЯТ?

– Что вы, какой там комфорт – в творческой семье! В творчестве – все дискомфорт.

Писателю нужен муж, который бы таскал рукописи по издательствам, подшивал рецензии, счета оплачивал. Художнику – жена, которая варит, стирает, подает и преданно выслушивает «мисли», как говорила моя бабушка. А мы оба – сиротки в этом смысле. Ну, что я буду морочить ему голову своими текстами, когда он в данный момент озабочен тем, как соединить в картине желтое с зеленым...

Но мы уже сросшаяся пара. И оба великодушны: не считаемся забытыми гвоздями и сваренными борщами, и слишком заняты каждый своим делом. Это самый лучший рецепт для спокойной семейной жизни. Когда же приходит третий счет за электричество или квартиру с восклицательным знаком и картинкой, на которой изображено – как из дома выносят мебель судебные исполнители, мы идем и оплачиваем счет вместе.

С годами учишься разграничивать личную жизнь и творчество, время работать и время прикинуть друг к другу.

– ЛИТЕРАТОР ВСЕГДА НЕВОЛЬНО ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ СОВЕТЧИКА. ОТ НЕГО ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДУТ ОТКРОВЕНИЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В СУДЬБАХ ДРУГИХ. ВЫ ЭТУ РОЛЬ НА СЕБЯ ПРИМЕРЯЕТЕ?

– Ну, какие советы может дать человек, не чуждый всех пластов ненормативной лексики! От меня надо вообще подальше держаться, а не советов спрашивать.

И потом, представляете, какой наглостью надо обладать, чтобы захотеть менять что-то в судьбах других, и полагать, что тебе это по силам. Нет, я никогда никаких ролей на себя не примеряла, я поэтому даже и актрисой не стала, хотя имею явные способности к этому занятию. Складывание букв в слова, слова – во фразы, и так далее – сугубо частное дело психически неуравновешенных людей.

Дай Бог с этим как-то самой жить научиться, а других учить – нет уж, увольте!



– *ВЫ, КОГДА ПИШЕТЕ, ГОРИТЕ?*

– Да что вы, это поэту по – ложено гореть; они погорят-погорят, глядишь, стихотворение выйдет в несколько строк. Мы, прозаики – тяжеловесы. Нелегкая работка, между прочим – написать, скажем, текст страниц на тридцать. Не говоря уже о романе – на пятьсот. В нашем деле горение только мешает. Прозаику нужна тишина, покой и много часов невылазной работы. С годами это становится таким способом дышать, системой кровообращения. А существовать без этого уже невозможно. Ты становишься рабом работы. Тебе уже необходимо буквочки складывать в слова. Поэтому, к концу любых гастролей, любой поездки я

начинаю раздражаться, уходить от общения. Когда человеку долго зажимают рот, он начинает задыхаться.

– *ЧЕМ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ «ДЛЯ СЕБЯ», ЕСЛИ ОНО ВООБЩЕ КАК ТАКОВОЕ У ВАС ИМЕЕТСЯ?*

– В основном, читаю. Бывает, шляюсь по улицам, подглядываю, подслушиваю, ловлю мух, галок, ворон... Забрасываю сети, вытаскиваю рыбку – если повезет... Нормальное времяпрепровождение джентльмена в поисках сюжета.

– *К ВАШЕМУ ИМЕНИ ЧАСТО ПРИСОЕДИНЯЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ВЫ ОЩУЩАЕТЕ СЕБЯ ЕВРЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?*

– Нет уж, никаким отделом я себя не ощущаю, и вообще бегу от всего, что поделено, построено в ряды, ориентировано на... Кроме того, никто еще не определил точно, что такое еврейская или русская литература. Франц Кафка – он еврейский писатель, или немецкий, или чешский? А проза Фазиля Искандера – абхазская литература или русская? Для искусства важен психофизический склад личности писателя. «Лолита» Набокова – американский роман, но написан человеком с русско-чувствующим сознанием. Это потрясающее слияние. Вот и я – человек, безусловно, русского аппарата изъяснения. И в то же время очень чутка к национальным своим корням...

– *ВЫ ЧЕЛОВЕК ШИРОКИЙ К СОБРАТЬЯМ-ПИСАТЕЛЯМ?*

– Ой, нет. Очень узкий – если я правильно поняла, что вы имели в виду. То есть, конечно, я весьма лояльна и коллегиальна на разных профессиональных встречах и семинарах. Если что в моих силах – помогу, дам наводку в издательство, познакомлю со знакомым редактором; если просят, не откажусь вести вечер-презентацию чьей-нибудь новой книги... Но... понимаете, я не могу отключить у себя в мозгу такой спецприбор, фиксирующий все смешное и нелепое. Помню, реакция многих «заинтересованных» читателей на мой, достаточно острый, бурлескный роман-комикс «Синдикат» была: «Очень зло написано». Наверное... В таких случаях я обычно смиренно добавляю, что сама являюсь первым объектом собственной безжалостной насмешки. Правда, это мало кого успокаивает...

Картинка по теме:

Я видала разных львов в своей разъездной жизни: крылатых львов Венеции, задиристых, с поднятыми лапами львов Иерусалима, величаво возлежащих пражских львов.... Но в этих было что-то патологическое. Возможно, виновата вульгарная серебряная краска, которой их покрывали каждый год. Но, главное, выражение их совершенно по-человечески запущенных, каких-то изголодавшихся лиц: в руках (!) – да, именно так выглядели длинные и загнутые на манер сжатых пальцев когти их лап, – львы алчно сжимали огромную кость неизвестного происхождения, надеюсь, не хирургического (над крыльцом красовалась вывеска: «Хирургическое отделение психиатрической больницы») и уже вот-вот готовы были приступить к трапезе, – во всяком случае, так выглядели их оскаленные серебряные пасти...

Вольница находилась на территории Ясной Поляны, основана была некогда самим Львом Николаевичем Толстым, и гуляющие по территории писатели, ежегодно съезжающие сюда для обмена мыслями и фобиями, весьма далекие от графа и в том, что касается его доходов, его философии, его стилистики, его фобий и, главное, его гения, – любили фотографироваться на фоне этих чудовищ.

Кстати, по поводу фобий: у писателей их было достаточно. К тому же, как известно, писателю трудно смолчать, если что его терзает. А во все времена всего того, что может терзать писателя, так много, что на обмен этими, записанными мыслями, уходили долгие часы заседаний. Писатели народ письменной культуры, не все они умеют говорить, да и их мысли, даже грамотно изложенные, не всегда могут захватить аудиторию. Капризная и

коварная эта субстанция: внимающая душа зала. Чтобы ею завладеть, тоже нужны если не талант, то уж сноровка, которая, увы, среди писателей встречается крайне редко.

А тут, в Ясной Поляне, в тени величия знаменитой веймутовой сосны, над которой витало еще более осязаемое величие гениального хозяина усадьбы, невнятно выраженные эти фобии разных сортов и направлений звучали совсем уже заунывно. Если не сказать – жалко.

– Видишь, – шепнула мне Марина Москвина, – в детской аудитории это не прокапает. В детской аудитории, если такой шамкающий мудака выйдет и скажет что-нибудь, вроде: «Дети, я расскажу вам сказку...» – то какой-нибудь Андрюха в третьем ряду обязательно крикнет: «Как дед насрал в коляску?»

– Детей ты должен завоевать, – добавила Марина. – Перед ними надо вытаскивать из рюкзака перо жар-птицы, морскую раковину с подводным гулом, челюсть доисторического осла... Это огромная работа – по завоеванию детского внимания... А тут вот, видишь... – и она сердобольно вздохнула, – какие бедняги...

– КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ПУБЛИКАЦИИ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСКИ С КЕМ-ТО ИЗ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ?

– Боже упаси! Я человек скабрзный, с прищуренным глазом и острым языком, с подчас неконтролируемым чувством смешного... мало ли чего я понапишу в личных письмах по частному поводу! У всех нас – после нас – остаются дети и внуки, к чему им-то расхлебывать все эти запутанные хитросплетения отношений. Нет, нет и нет. Сжечь вместе с бабушкой весь ее архив к чертовой матери!

– МНОГИЕ КРИТИКИ СТАВЯТ В РЯД ЕДИНУЮ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННУЮ РОМАНА ТАКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ, КАК ДИНА РУБИНА, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ, ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА? ПОХОЖИ ЛИ ЧЕМ-ТО ЭТИ АВТОРЫ, ЕСТЬ ЛИ У НИХ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ? И ЕСЛИ НЕ НАЗЫВАТЬ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ «ЖЕНСКИМ РОМАНОМ», ТО КАК ЕЮ НАЗВАТЬ?

– Назовите его мужским романом женского происхождения, это будет довольно точно. Все, перечисленные вами писательницы – люди сильные, талантливые, успешные. Только этим и похожи.

Понимаете, у нас есть писатели-мужчины и писатели-женщины, третьего природой не дано. Писатели-мужчины гуляют себе своими путями, никому не приходит в голову, свистнув, построить их в ряды. Почему-то в отношении к писателям «женского происхождения» всякому хочется их построить, обозначить, пронумеровать, как стадо коров. Это какие-то животноводческие позывы, вы не находите?

Давайте оставим всех писателей в покое, пусть гуляют сами по себе, они все особы одинокие по профессии, каждый – единственный, и обижаются, когда их вызывают из строя, как первогодок, и перечисляют через запятую.

– В ПРОЗЕ ВЫ ПРОЯВЛЯЕТЕ СЕБЯ В РАЗНЫХ ИПОСТАСЯХ, СРЕДИ ВАШИХ РОМАНОВ – И АВАНТЮРНО-ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ В СОЧЕТАНИИ С ЭЛЕГИКО-МЕУАРНЫМ ЖАНРОМ, И РОМАН-КОМИКС, СОЧЕТАЮЩИЙ ОСТРЫЙ ГРОТЕСК С НЕПОТРЕБСТВОМ ЖИЗНИ. КАКОВА ЛОГИКА ЭТИХ ПЕРЕХОДОВ И ЧТО ВАМ БЛИЖЕ – ВЕРОЯТНО, ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ?

– Логика переходов диктуется панической боязнью окаменелости стиля, «лица». Все чудится, что гонится за мной страшный литературный критик со штампом в ручище: проштамповать, отнести к течению, запротokolировать, навесить бирку и поставить на проименованную полку. Например, полку «женского романа».



Это прежде всего – интуитивное желание замести следы. Наверное, в одной из прошлых жизней я была какой-нибудь международной авантюристкой с набором в чемодане паспортов на имена разных женщин...

Если серьезно, то каждому следующему опусу предшествует нота, слабо звучащая где-то в области диафрагмы. Слабая такая нота, дребезжание интонации... Знаете, когда слушаешь хороший джаз, то после того, как смолкнут аплодисменты и наступает тишина... сна-

чала так нейтрально метут метелки, задавая ритм... потом вступает мерный топ тарелок... наконец возникает саксофон... и ты уже понимаешь, ощущаешь – не что-нибудь, а объем и настроение вещи... Вот так и у меня. Сначала я чувствую общую интонацию и некий объем, потом уже начинается история – соответствующая история.

А которая из интонаций ближе – сказать трудно.

– ПЕРЕЧИТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ТО, ЧТО НАПИСАЛИ В 16, 17, 18 ЛЕТ И КАК ОТНОСИТЕСЬ К ЭТИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ? ЧАСТО ЛИ ВЫ ВООБЩЕ ЧИТАЕТЕ СЕБЯ? И ЕСЛИ ЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ЧУВСТВА ИСПЫТЫВАЕТЕ?

– Увы, я вынуждена перечитывать то, что наваяла чуть ли не в яслях, когда выходят переиздания моих книг – авторскую вычитку никто не отменит. Хотя, часто мухлюю: если мне кажется, что корректор хорошо поработал, я халтурно пробегаю сконфуженным взором тексты этой заядлой задрыги, которой некогда была...

По этому поводу вспоминаю одного соседа с нашего ташкентского двора, дядю Володю. Он должен был писать какую-то свою диссертацию по марксизму-ленинизму Но не любил писать и до смерти не хотел этим заниматься.



С утра он переделывал всю домашнюю работу в доме, – мыл посуду, готовил обед, стирал, развешивал белье, гладил высохшее... А когда в доме совсем уж нечего было делать, говорил: «А теперь пойдем, покормим собачек», – и выходил во двор кормить приبلудных дворняг.

Примерно так я вычитываю свои старые повести и рассказы.

Вообще, никогда не могла понять нежной любви писателей к своим старым текстам. Впрочем, если не ошибаюсь, Лев Толстой однажды нашел в столе какой-то лист бумаги, написанный от руки... прочитал его, сказал: «...а ведь хорошо написано. Кто автор?» И с удивлением обнаружил, что автор – он сам.

– ЧТО ИНТЕРЕСНЕЕ: ВСПОМИНАТЬ И ВОССОЗДАВАТЬ СВОЕ ПРОШЛОЕ ИЛИ ПРИДУМЫВАТЬ НОВЫХ ГЕРОЕВ И НОВЫЙ МИР? ВООБЩЕ – НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ ВАМ ОТДОХНУТЬ, ОТКЛЮЧИТЬСЯ, ПЕРЕСТАТЬ СОЧИНЯТЬ?..

– Интересно бывает коллекционировать значки или марки. Заниматься чем угодно, но в охотку, в свободное время, для развлечения-увлечения... Спросите хирурга – ему интересно делать пятьсот первую операцию на сердце? А когда он ответит, предложите ему отдохнуть и никогда больше не брать в руки скальпель. Представили, что он НА ЭТО ответит?

Любой профессионал занимается своим делом не потому, что это интересно, увлекательно, а потому что без этого немедленно перестанет дышать. Творчество – смертельная воронка, из которой выхода нет. Спасти от творчества может только беспамятство, чего я никому не желаю. Ну, а что касается – вспоминать или воссоздавать... Это процессы нерасчленимые, взаимопроникаемые, вернее, это один процесс...

– ЧТО СЛОЖНЕЕ ПИСАТЬ – РОМАН ИЛИ РАССКАЗ?

– Это разное приложение сил, разные сферы деятельности. Все равно, что вы спросите – что труднее: поднять стокилограммовую штангу, или расписать палехскую шкатулку.

Рассказ – точно по этому поводу сказал Михаил Веллер: «торпедный катер». Роман – «линкор» со всеми палубами, орудиями, шлюпками... Другая высота обзора, другой замах руки. Когда я отпишу роман, я всегда на какое-то время «меняю руку», и пишу сборник «мелочей».

– ВОТ ОН УЖЕ В КРАСИВОЙ ОБЛОЖКЕ, ВЫ ЕГО ЧИТАЕТЕ? НЕ ВОЗНИКАЕТ ЛИ ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕПИСАТЬ, ЧТО-ТО ИСПРАВИТЬ?

– Возникает, непременно. Поэтому-то я стараюсь под готовую обложку не заглядывать.



– НАБОКОВ ПИСАЛ ОБ ОДНОМ ИЗ СВОИХ ПЕРСОНАЖЕЙ: «ЧЕЛОВЕК СО СЛИШКОМ ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ, ЧТОБЫ БЫТЬ КРУПНЫМ ПИСАТЕЛЕМ». ВАШИ НАХОДКИ ТИПА «ЛЕВАНТИЙСКИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРПЕТУУМ» – ЭТО ОТ ДОСАДЫ, ПРОСТО ОБРАЗ – ИЛИ ДОБРАЯ, БЕЗЗЛОБНАЯ ШУТКА? ЕСТЬ СПИСОК КАЧЕСТВ – В ОКРУЖАЮЩИХ, – КОТОРЫЕ ВАС РАЗДРАЖАЮТ?

– Наоборот, меня все восхищает. Раздражение – плохой товарищ для прозаика, совсем негодный импульс для работы. В то же время не путайте профессионализм прозаика с его личными ежедневными эмоциями. Хотя, конечно, все начинается с эмоции. Работа будет потом. И в этом смысле, я не понимаю – что такое «добрая беззлобная шутка». Я создаю персонаж таким, каким он должен быть и нести свою функцию в романе, повести, рассказе. Я не подшучиваю над ним, не хвалю его, не одобряю и не осуждаю... Я – автор – объективна к нему. Как природа.

Дело не в доброте или злом саркастическом взгляде. Дело во внимании к деталям, походке, жесту, словам... Жизнь – любая жизнь – трагична и комична одновременно. Если смотреть на нее «добрыми глазами», рискуешь не обратить внимания на тысячи гротескных мелочей. Человек же, любой человек, вообще чрезвычайно смешон.

Понимаете, профессиональный писатель фиксирует своим глазом все, как камера слежения в магазине. Камера ведь не добрая и не злая, просто в ней отражается кусочек пространства с той жизнью, которая в какой-то период времени на этом пространстве происходит. Камера выхватит и трогательную девочку, которая поправляет сандалик на ножке годовалого братика в коляске, и инвалида на костылях, и воришку, стащившего с полки пачку леденцов, и юного онаниста за рядами пачек с «корнфлексом»... Писатель, конечно, отбирает детали и, конечно, в его воле придать «взгляду» его камеры то или иное направление. Но в одностороннем отборе есть опасность антихудожественности, тенденциозности...



Да что там говорить. Прав великий Набоков, прав: мы – волки. Все писатели – хищники. А иначе в литературе не выжить.

Но если вдруг я наталкиваюсь на нечто неординарное, то, конечно, люблюсь.

Соседи

В нашем подъезде меняют трубы.

Фраза, боюсь, получилась эпическая. Но и процедура эта весьма эпическая: целыми днями грохот и звон, будто у нас в подъезде полицейские ликвидируют пресловутый «подозрительный предмет». Замену труб осуществляет бригада арабских рабочих, а именно: Имад – полный, как вавилонская танцовщица, улыбчивый человек лет пятидесяти, и его подручный – безмянный бессловесный парень, который, собственно, и работает.

Имад – человек почтенный. Уже тридцать лет он, житель соседней – через ущелье – арабской деревни Аль-Азария (где когда-то Иисус воскрешал безнадежно умершего Лазаря), кочует с ремонтами из одного дома в нашем городке в другой. У него безупречная рабочая репутация, проникновенный влажный взгляд и широкая улыбка. Пожалуй, слишком широкая...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 109,00р. (на 12.04.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.